



Репродукция  
картины  
В. Маковского  
«Рыбак»

## РИГА ПОЛТОРА ВЕКА НАЗАД: РОМАН С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

«Удильщик на Двине» относится к тому виду литературы, который ведет у нас свое происхождение от знаменитого сборника «Физиология Петербурга» (1845), обязанного своим появлением Белинскому и Некрасову. Сложился же он в ходе развития газетного дела.

С возникновением газеты, рассчитанной на широкого читателя, которого можно было удержать только чем-то интересным за малую подписную плату, появился тот жанр беллетристики, который получил название «роман-фельетон». Своеобразие этого жанра заключалось в том, что здесь совмещалось то, что невозможно было совместить на страницах альманахов, толстых журналов, сборников, рассчитанных на взыскательную публику. Здесь уживались и романтические клише и сочный натурализм, стремительно мчащийся сюжет и обстоятельные замедления, дающие описание быта и нравов, центральный герой — демоническая личность, тогда как вокруг теснятся реальные типы.

Наглядным образцом такого газетного романа были «Парижские тайны» Э. Сю и «Граф Монте-Кристо» А. Дюма. У нас наиболее типичным образцом является роман Вс. Крестовского «Петербургские трущобы».

Что еще было характерно для романа-фельетона? То, что автор сплошь и рядом импровизировал. Он лишь имел общий замысел, а как замысел будет воплощаться в ближайших номерах газеты, оставалось тайной для него самого. Опытному читателю было интересно наблюдать, как автор вывернется из хитросплетений, напутанных в предыдущих номерах. И автор не церемонился — одним махом разрубал узлы, вводил неожиданных спасителей...

Во вступлении к уже упомянутому сборнику «Физиология Петербурга» В. Г. Белинский писал: «... у нас совсем нет беллетристических произведений, которые бы в форме путешествий, поездок, очерков, рассказов, описаний знакомили с различными частями беспредельной и разнообразной России, которая заключает в себе столько климатов, столько народов и племен, столько вер и обычаев и которой коренное русское народонаселение представляется такою огромною массою, с таким множеством самых противоположных и разнообразных пластов и слоев... А сколько материалов представляет собою для сочинений такого рода огромная Россия! Великороссия, Малороссия, Белоруссия, Новороссия, Финляндия, остзейские губернии, Крым, Кавказ, Сибирь — все это целые миры, ори-

гинальные и по климату, и по природе, и по языкам и наречиям, и по нравам и обычаям, и особенно по смеси чисто русского элемента, из которых иные родственны, а иные совершенно чужды ему... Какая пища для ума наблюдательного, для пера юмористического!»

С большим или меньшим успехом подвизались на этом поприще описания своей страны многие авторы. Но больше всего их манил юг и восток. Остзейским губерниям, к сожалению, уделялось мало внимания. Считалось, что они сами себя в достаточной мере осветили на немецком языке. Но на русском встречались лишь редкие публикации, преимущественно белгие путевые заметки.

«Удильщик на Двине» — первое произведение русского автора, наблюдающего русскую Ригу изнутри. Напечатана повесть была в 1877 году в газете «Рижский вестник» (редактор Е. В. Чешихин) под псевдонимом «Калика Перехожий». Следует заметить, что русскими профессиональными писателями Рига была не богата. Печатались в газете преимущественно дилетанты из числа гимназических учителей, офицеров, чиновников и образованных купцов. Одни из них в силу ношения мундира не могли ставить свое имя, другие откровенно стеснялись, а тем, кто выступал против местного «немечества», было просто небезопасно действовать с открытым забралом. Чаще всего ставились инициалы, а то и вовсе ничего не ставилось.

Перу «Калики Перехожего» принадлежит ряд публикаций, касающихся плаванья по Западной Двине, описание некоторых городов Лифляндии и Курляндии. Чувствуется, что это не коренной местный человек, но в достаточной мере уже обжившийся здесь.

Вряд ли это был сам Е. В. Чешихин, иначе сын его Всеv. Евгv. Чешихин, выпустивший в 1913 г. брошюру, посвященную памяти отца в связи с двадцатипятилетием со дня его смерти, раскрыл бы авторство, перечисляя все, что принадлежало его перу.

К сожалению, архив Е. В. Чешихина погиб во время первой мировой войны, и это чрезвычайно затрудняет установление авторства. А вдруг это сам издатель газеты Александр Федорович Енохович? На какой-то след наводит указание в той самой памятной брошюре, что наиболее активными сотрудниками газеты были Мальцов, Желтов, князь Урусов и Штанге. Скорее всего это мог быть Иван Мокеевич Желтов, учитель русского языка и словесности, преподававший в Якобштадте, Дерпте и рижской Александровской гимназии. Кстати, в 1872 году эту же гимназию окончил с золотой медалью некий Александр Штанге. Как знать, может быть кто-то из рижских потомков названных лиц вспомнит о существовании семейного предания о том, что дед или прадед что-то пописывал и где-то печатался. Не кончились же все литературные находки с находками Ираклия Андроникова!

Разумеется, художественные достоинства повести более чем скромны, и публикуется здесь (в значительном сокращении) она не ради них. Ее надлежит рассматривать лишь как документ. И документ этот дает нам очень много. Начать с анекдотического толкования праздника Лиго на первых страницах, которое показывает, насколько слабо еще разбирались русские в латышских поверьях и мифологии. Но одновременно он свидетельствует о глубоком уважении автора к латышскому населению, если оно не заражено немецким духом. Один из главных героев — латыш, но это латыш-отщепенец, и, как всякий тип, отказавшийся от своего народа, он являет собою сосуд всяческой скверны. Во всяком острозащитном газетном романе с похищениями и разоблачениями всегда должен быть такой черный характер — преимущественно чужеземец или инородец. Таковы были законы жанра. Но и русские герои рисуются с известной долей иронии и подтрунивания, поскольку они не герои в прямом смысле этого слова, а люди маленькие, простые обыватели, скрашенные очарованием молодости. Из документа мы узнаем о том, где группировалось русское население Риги, как назывались по-русски окрестности ее, где веселились и как, куда ходили на богомолье, где лучше всего брала в те времена рыба, как строилась дамба в устье Двины и т. д.

Конечно, это не фотোগрафически точный документ, а скорее документ психологический, отражающий мировосприятие тогдашнего русского рижанина. В таком качестве он тоже имеет свою ценность.

Предисловие и публикация **Юрия АБЫЗОВА**

## УДИЛЬЩИК НА ДВИНЕ

### 1. ЛИГО ЯНА

Небогата наша лютеранская Рига праздниками. Их, собственно, всего на все четыре: Рождество, Пасха, Пятидесятница и Лиго Яна, по-нашему Иванов день, 24 июня. Празднуются и другие праздники, церковные и национальные, но далеко не так торжественно, как вышеозначенные четыре праздника, торжествуемые по три дня каждый, или даже по четыре, если не больше, потому что после окончательного дня праздничного следует день так называемый зеленый, каковое название придумано ему и усвоено гезелями<sup>1</sup>, на основании того, что у большей части их брата зелено в глазах с похмелья.

Но из всех праздников торжествуется светлее, веселее, разбитнее праздник Лиго<sup>2</sup>. Не подлежит сомнению, что он есть остаток глубокой старины языческого мира. Древние ливы и летты, или наши латыши, любили особенно чествовать бога всякой радости, всякого веселья, Лиго; торжественно, в эпоху летнего солнцестояния, — т. е. в самое веселое время лета, время цветения, собирались целыми семьями у подножия одной высокой горы в Лифляндии, располагались шатрами на лугу, а потом ночью совершали процессию религиозную

на ту гору, заросшую дремучим лесом; принеся там жертву Перкуну, страшному богу грома, особенно Пекову (отсюда Пекло, ад), еще более страшному богу смерти и ада, возвращались и начинали общий пир с танцами. Яства, крепкий мед приносили все, кто сколько мог, и угощение шло общее. Здесь, под веселым настроением духа, совершались свидания друзей, родственников, любовников; совершались примирения враждующих; устраивались брачные союзы, совершались многие семейные дела, но отнюдь не общественные, так как веселый бог Лиго особенно недолюбливал серьезные дела и угодить ему, расположить к себе, чтобы снискать на целый год веселое препровождение времени, без болезней, без других потрясений, можно было только тем, чтобы до упаду веселиться на его празднике при священной горе. Других жертв, кроме разных цветов, он не вымогал от своих радостных поклонников, подобно другим богам, особенно ужасному и видом и характером Пекову.

Если разбирательство каких-нибудь общественных дел случайно и совпадало с праздником Лиго, то не прежде приступали к иным, как с окончанием торжества, которое старший народный вождь, т. е. вайнем, возвещал народу трубным звуком. Так по преданию поступил и знаменитый Иманта, последний народный вождь латышский, когда прибыл туда на праздник Лиго посланец ливов с просьбою о помощи против пришельцев заморских. Иманта не

<sup>1</sup> Гезель — подмастерье (нем.). Здесь и далее примечания публикатора.

<sup>2</sup> Толкование происхождения праздника строится на материале, воспринятом понаслышке из псевдонаучного источника.

прежде приступил к совещанию, как распустивши собрание. Так уважало-сь веселье на этом празднике! С вольным, а более невольным принятием христианства латышами они не могли, конечно, позабыть такого доброго бога, который дарил им так много удовольствий; а так как невозможно же было, состоя в лоне христианства, допустить празднование богам языческим, то придумано перенести праздник Лиго на Иванов день, хотя то торжество долженствовало происходить несколько позднее. В последствии времени этот характер праздника не только удержался в своей силе, но получил большее развитие, именно вследствие ограниченного числа праздников в лютеранском мире. Умно соображено, что от чего же человеку, постоянно несущему тяжелый труд, ждать отдыха, самого веселого, не сделать ему, так сказать, отличной рекреации, основанной притом на предмете воспоминания?

Праздник Лиго в Риге начинается 22 июня на Двинском плавучем мосту и на городском берегу, который на-

зывается тогда цветочным рынком. На мосту гремит полковая музыка, корабли и лодки украшены венками, цветами, флагами; народу видимо-невидимо и на мосту, и на берегах, и на близлежащих улицах; все торопится на мост или на цветочный рынок, чтобы полюбоваться произведениями юной флоры, а то, пожалуй, и купить цветов, венков, душистых трав, чтобы в доме повесить их, вроде спасительного какого талисмана. На реке, на притоках ее, на Красной Двине, на рукавах около Заячьего острова, тоже движение, даже более живое, свободное, чем в городе, под влиянием полиции и приличия, которому, чем далее от центра их, тем более дается простора. Тут вы встретите люд, торжествующий на-распашку. Впрочем, к чести торжествующих, необходимо сказать, что того безобразия, каким иногда сопровождаются праздники в иных захолустьях России, здесь почти не бывает. Вы встретите только люд обоего пола, увенчанный дубовыми венками. Люд этот, изрядно подгулявший, поет разные своего сочине-



Канун Иванова дня (Лиго) на Двинском рынке. Фото начала века. (Этот и все последующие снимки из собрания В. Эйхенбаума.)



ния куплеты, заключая их речитативом Лиго Яна. Люд этот в знак особенного внимания к вам, если вы того по их понятию заслуживаете, и вас увенчает подобным же гомеровским венком, чтобы получить от вас копеек пять-шесть на темную, а пожалуй и гривенник на пиво во имя Лиго Яна. Привыкшему к порядкам этих захоластуев не может не броситься в глаза эта некоторая, так сказать, чинность в бесчинстве. Здесь вообще умеют веселиться и простые люди, без особых возгласов и козлоглосования. Конечно, нет нигде без исключений.

Такое именно исключение и случилось вечером того торжественного веселого дня за устьем Красной Двины, насупротив нынешнего великолепного, богатого, образцового пивного завода г-на Даудера, — места, бывшего тогда почти совершенно пустынным, — где одиноко возвышался, или лучше — принимался домок сторожа пограничной стражи, на песчаном берегу, обросшем корявыми соснами. Сотни лодок и лодочек сновали взад и вперед по этому бассейну, где зимой сотни удильщиков и «дергачей», т. е. блитовщиков<sup>1</sup> (об этом будет далеко ниже) упражняются ловлением окуней, плотвы, быстеры, ершей и других подводных обитателей. Куплеты с речитативом в честь Лигу Яну то и дело разрезывали сгустившийся воздух, потому что стояла несколько дней страшная жара. Тучи страшно набулись; вот и молния блеснула на далеком горизонте, там где-то за Двиною, дальше даже, где какой-то благочестивый немец поставил над беседкой, где в воскресенье с приятелями пьет бейриш<sup>2</sup>, четырех чертей с рогами, хвостами и пр. Бесшабашный праздничный люд, однако, мало этим беспокоился, да что такое для него дождь, гроза? Да разве он не целый день там близ воды или в воде? И все продолжали спокойно свои не совсем-то гармонические мелодии, промачивая горло из временных питейных погребков, расположенных без взятия акцизных билетов. Только одна, очень маленькая и даже плохонькая лодочка торопилась как можно поскорее выбраться на берег, т. е. въехать в устье

Красной Двины и достигнуть сажень через 50 известной всем пристани, где с незапамятных времен пристают утки, гуси, ренга, капуста, картофель и прочие овощи огородов, вод, полей, дворов, привозимые барышниками и хозяевами из ближайших местностей и островов, а иногда из чухонских обителей. Большая часть прибрежных жителей, не имеющих времени или возможности покупать необходимое для стола на рынке, спешит покупать здесь у случайных торговцев, в чаянии что они берут дешевле, чем на базаре. Жители думают, что каждый торговец уступает им много процентов; именно столько, сколько бы издержал их, приехавши со своим товаром на действительный рынок, а тот думает: ведь далеко до рынка, дойти туда ведь стоит столько же процентов. Возьму-ко их я сам! . . . И та и другая сторона довольны своими соображениями.

К этому-то тихому пристанищу спешила пристать наша лодочка, седуки которой, как видно, были крайне озабочены нависшими тучами. В лодочке сидели старушка, мальчик и девушка. О старушке нечего сказать, кроме что старушка с добрым, симпатическим и набожным лицом, каким отличаются обыкновенно наши рижские русские жителями низшего сословия, большею частью по происхождению принадлежащие первым сюда переселенцам — старообрядцам; мальчик, очевидно, сын ее, был лет 15, живой, бойкий, по летам довольно сильный; а девушка . . . Ну, о ней мы повременим что-нибудь сказать, покуда скажем только, что она была какая-то на десятом киселе внучка старушке и . . . порядочная красавица, но крайне избалованная! Ей было лет 17—18. Старушку звали Матреной Прохоровной, сына ее Петькой, или все равно — Петром Пахомычем, а малеванную нашу красавицу Машенькой, т. е. Марьей Гавриловной. Так мы и будем их чувствовать в нашем сказании.

— Вот, матушка, — брюзгливо отгрызнулась Матрена Прохорова. — Послушалась тебя и поехала на душегубке. А что проку? Только и слышала какого-то окаянного лигуяна да лигуяна . . . А вот, пожалуй, и дождь спрыснет. А сколько за лодку возьмут? . . .

— Милая бабушка, Иван Ерусаланыч обещался за лодку ничего не брать, только чтобы я ласково на него взглянула. А я этого не сделаю, потому

<sup>1</sup> Блитовщики — по латышскому слову *blīne* — блесна, но, вероятно, в латышский язык слово это попало из местного русского.

<sup>2</sup> Баварское пиво.



**Сад богоугодного заведения на Александровской высоте**

что он такой... смешной, противный, фи!...

— Уж ой ты мне, воструха! — воскликнула старуха не то со внушением, не то с одобрением. — В 17 лет ты можешь ночь под жерновым камнем провезть, а у меня силушки уж нет кататься по ночам на этих подлых душегубках. Да вот и Петьке чай досталось...

— Нет, мама, ничего не досталось. Я готов кататься хоть до полночи.

— Ладно, ладно, а вот как еще доберемся за Покровку этими темными улицами, особенно около Кумминговского сада.

— А я-то разве выдам вас? Да я за тебя, племянница, — так Петька в шутку называл Машеньку, — горой постою.

И старушка и красавица внучка не могли не рассмеяться при этой выходке 15-летнего геркулеса.

Однако напрасно хвалился Петька, вероятно и сам сознававший, что Куммингов сад есть порядочная теснина для путников им подобных в Иванов день.

Куммингов сад<sup>1</sup> в то время не принадлежал еще англичанину Куммингу, а русскому купцу — богачу и сибариту.

Огромное пространство на берегу Красной Двины было обнесено (как и теперь) высоким забором, за которым был (как тоже и теперь) прекраснейший парк из дубового, ясеневового лесу и других деревьев. Но как на самых низменных местах красновинского берега между этим парком и дорогою, проходящею на нынешнюю Александровскую высоту<sup>1</sup>, оставалось еще некоторое пространство, кусадьбе принадлежащее, притом довольно значительное, то и оно отделено от дороги таким же забором, в конце которого с одной стороны до другой устроена была чудная воздушная лестница, для прохода из дома через дорогу, поверх нее, в купальню на Двине. Таким образом между этими двумя заборами-стенами образовалась теснина, шагов около 500 длины, теснина, существующая и теперь, теснина и теперь небезопасная, особенно в темную ночь, особенно для запоздалых спутниц.

## II. ОТЧАЯННАЯ БОРЬБА

— Стоп-машина! — раздался голос почти над самым ухом струсившей Машеньки, не привыкшей к выслушиванию таких повелительных наклонений.

<sup>1</sup> Ныне территория Института травматологии.

<sup>1</sup> Ныне территория психоневрологической больницы.

Голос-рычание вырвался из гортани Индрика Притца.

Кто же был этот человек? Это был прежде всего онемечившийся латыш, как и самая его фамилия показывает. Латыши вообще народ, достойный уважения, но только в деревне. Там латыш, лютеранин ли, православный ли, очень хороший человек, он вежлив, услужлив, вынослив, по-своему гостеприимен, набожен и в высшей степени честен. Сколько раз я проезжал и проходил латышиной и нигде и никогда не был обворовываем, обсчитываем, а везде охраняем, как родной, хотя ни слова не знаю по-латышски. О трудолюбии, о строгой бережливости в жизни, об умелости принаровиться к ней во всех трудных ее проявлениях свидетельствует то обстоятельство, что они несут и выносят благополучно многотрудные и многосложные обязанности прибалтийских крестьян с честью и благообразием, достойным всякого уважения. Еще и теперь, когда под семью замками надо запирать каждую копейку, во многих деревнях о запорах не заботятся.

Но зато латыши городские далеко не подходят под этот тип. Растлевающая жизнь большого города, обильного всеми родами соблазнов, решительно уничтожила их скромные, в высшей степени уважительные добродетели сельского характера. Извозчик из латышей не посовестится спросить с вас вдвое-втрое за провоз и почти всегда ответит: «Мало, господин», а при случае сделает с новичком и скандал, во избежание которого он отдает это вдвое-втрое. Особенно нехороши те латыши, которые ломаются в немцы, которые немцами и быть не могут ни по воспитанию, ни по чувствам, ни по уму, но стыдятся своего происхождения, как будто в нем есть что-то нехорошее, к счастью таких quasi-немцев немного здесь, очень немного, но все-таки есть или лучше сказать было, потому что мы пишем повесть из былого времени.

К числу таких quasi-немцев принадлежал и природный латыш г. Индрик Притц. Мальчишкой поступил он к одному мяснику, где получал в звании бурша<sup>1</sup> плохое содержание и изрядное количество подзатыльников; все это вынес отлично хорошо, потому что судьба

наградила его мускулистым некрасивым лицом с выдающеюся нижнею челюстью, рыжими, жесткими волосами, но сильным, почти атлетическим телосложением. Лучшей профессии он и выбрать не мог. Его бычья шея, его толстые, жилистые руки до колен, его двухаршинные плечи делали его одним из лучших адептов скотобойни. И действительно, он был примусом<sup>1</sup> своего заведения; в 17 лет он сразу забивал быка; со свиньей справлялся, как с теленком. Лет в 25 он женился на хозяйской дочери — немке; разумеется, отрекшись от всякой принадлежности к латышеству. При первых же родах жены он овдовел, сам завелся торговлею мясом, женился вторично, вторично овдовел, в третий раз женился и в третий раз овдовел, не имевши радости назваться отцом, потому что все три жены умерли в родах. И он, в описываемое время, пятидесятилетний, здоровый мужчина круглый, как отличная колбаса, помышлял жениться еще раз, только уж непременно на хоро-

<sup>1</sup> Первым (латин.).



Тип рижского торговца мясными изделиями

<sup>1</sup> В учениках, подручных (нем.).

шенькой и молоденькой, потому что все прежние жены были не очень молоды и хороши и брал он их из чисто коммерческих расчетов.

Торговал он всем чем угодно. Покупал скот у прогонщиков, но отнюдь не на рынке, а большей частью где-нибудь далеко за городом, например за мостом Пильхауским<sup>1</sup>, за 9 верст по Петербургскому шоссе. В тамошней корчме заседают десятки таких кулаков, в ожидании не повезет ли какой-нибудь эстонец, латыш чего-нибудь из леса, рыбы, масла, чтобы, подпоив его, заговорив ему зубы, купить у него подешевле, а в городе сбыть подороже. По целым неделям высиживают они там, выслеживая свою добычу, попивая, поругиваясь, в азартные игры пускаясь. Индрик Притц часто бывал и на Дунь-озере и на других озерах в зимнее время — время улова рыбы. Там он тоже по нескольку дней, иногда неделю и более, выжидал улова ее, а выждав, скупал с прочими и отправлял в город, как будто сам рыболов. Но самое любимое его занятие было фабрикование маслом. Скупая масло за заставою или дальше, он не вез его на рынок, а отправлял домой, смешивал с салом, а в большие морозы с водою, прибавлял соли и таким образом увеличивал на много процентов его вес, вывозил возами на рынок, переодевшись крестьянином, будто продает из первых рук. Не прочь он был при этом откинуть, если случай представится, и какое угодно шахер-махерство. Напр. с ним был один такой случай. К нему подошел купить фаску<sup>2</sup> масла один прилично одетый господин, полагая, что имеет дело с настоящим мужиком. В цене сошлись, и он подал ему 25 руб. бумажку. Он развернул ее, посмотрел, сказал, что сдачи у него нет, но достанет у соседа, с которым действительно поговорил тут же в глазах покупателя, но затем возвратил деньги покупателю, заверяя его, что и у соседа нет сдачи и что ему лучше разменять деньги где-нибудь. Каково же было удивление покупателя, когда он, развернувши кредитную бумажку, увидел, что ему возвратили не 25-рублевую,

а только 10 руб. Произошла суматоха, пошли или, лучше, повели покупателя в полицию, зачем-де он смеет честного человека обзывать вором. И покупатель рад-рад был, что только тем и отделался, что потерял 15 руб. ни за что, ни про что. Но зато ему в полиции преподали полезный урок, чтобы, подавая кулаку ассигнацию, особенно крупную, всегда развертывал ее перед носом его и громко произносил, что дает. И за то спасибо!

Таким образом г. Притц легким трудом, при отличной сноровке богател все больше и больше, богател и толстел, оттого что сыто ел и пил. Пьяным никто его не видывал, но в день осушивал по штофу да несколько бутылок пива, и это ему с рук сходило безнаказанно.

Вот этот-то Индрик Притц уж с год стал заглядываться на Машеньку; он ее случайно где-то встретил и стал преследовать своими любезностями. Машенька и сама была неправа тут. Имея изрядную долю кокетства, она не сохотела раздражать его романтические наклонности стрельбой глазками и т. п., чтобы подразнить, посмеяться, но в душе презирала. Получивши решительный отказ, он не только не смутился, но стал еще настойчивее. Знала ли об этом бабушка? Нет, девушка даже посоветилась и говорить ей об этом, а сам Индрик жил где-то за Двиной и вовсе не заботился о том, чтобы представиться старухе. В Иванов день, день свободный от занятий, он решил повидать свою кралою, но ему сказали, что она с бабушкой на Двине. Сам не зная зачем, и он отправился туда же вместе с двумя своими здоровеными буршами. Судьба, как мы уже знаем, благоприветствовала его. Машенька, беззащитная, была в его руках, потому что тотчас, как он распознал, с кем встретился, скомандовал своим буршам — и вмиг семья была разлучена. Кричать было запрещено, да и кто бы услышал их крик в глухом переулке? Положение было критическое.

— Ну, моя красавица, — сказал он трепещущей девушке, коверкая страшно русский язык, как коверкал немецкий, представляясь немцем, — теперь надеюсь, ты не откажешь мне в чести и удовольствии быть моею женою и получить мне от тебя... задаточек, чтобы после не заупрямилась... Так ли?

— Кто вы и чего от меня хотите?

<sup>1</sup> Имеется в виду мост у хлопчатобумажной фабрики Пихлау на слиянии Киш-озера и озера Югла (ныне швейная фабрика «Спартак», Юглас крастмала, 1).

<sup>2</sup> Фаска — очевидно, бочонок, от немецкого Fass — бочка.

— Чего я хочу, об этом я уже ясно сказал тебе, миленькая, и, пожалуй, еще раз скажу: я хочу, чтобы ты была моею. А кто я, успеем познакомиться после. Завтра же я приду к твоей бабке для получения формального согласия. А теперь позволь расцеловать тебя!

Говоря это, он жал в своих медвежьих объятиях девушку и исполнял буквально слова свои. Началась упорная борьба. Но Машеньке ли было одолеть такого голиафа?

— Оставьте меня. Прошу вас ради Христа, ради спасения вашей души, не троньте меня, не делайте несчастной!

— Кто тебе сказал, что я сделаю тебя несчастною? . . . Да когда выйдешь за меня замуж, будешь барыней, в шелку, в бархате ходить, все удовольствия, все радости иметь. Я ведь требую задатку, собственно для того, чтобы ты не отказалась . . .

— Я не могу быть вашею женою . . .

— Ха-ха! Это мне уж знать, а не тебе.

— Но . . . я не буду.

— Будешь, будешь! Сама еще попросишь меня взять тебя замуж, чтобы прикрыть свой стыд! . . .

— Мы будем жаловаться . . .

— Ха-ха-ха! Боюсь я ваших жалоб. Да на кого ты будешь жаловаться? Кто свидетель? Не бабка же! Да она первая даст совет покончить дело миролюбиво.

— Изверг! Пусти меня . . . Помогите! . . . — крикнула Машенька в отчаянии.

Злодей уносил ее быстро куда-то, очевидно стараясь выбраться в соседний лес, и она снова стала с рыданиями, с силой отчаяния вырываться из его рук. Шляпка свалилась, волосы растрепались, и похититель принужден был остановиться, чтобы крепче забрать ее, заткнуть рот платком и вздохнуть.

В суматохе ни он, ни она не слышали, как кто-то бежал к ним опрометью, задыхаясь.

— Стой, мерзавец! . . . — крикнул чей-то молодой здоровый голос. И за этим последовал такой удар палкою по голове г. Притцу, что будь кто-нибудь другой на его месте, он упал бы замертво, но Индрик Притц, обладая почти богатырскою силою, только пошатнулся, а не упал, не выпустил добычи; последовал другой удар, но и тот не подействовал. Началась ожесточенная борьба.

### III. МАШЕНЬКА В ВЕЧНОЙ КАБАЛЕ

Неизвестный, с таким самоотвержением бросившийся на страшного бульдога человеческого рода, употреблял самые отчаянные усилия одолеть его, но бульдог стоял как дуб; страшная сила его только отчасти тем и парализовалась, что он не имел возможности пустить в дело свой пудовый кулак, — потому что левою рукою держал пленницу, а правую душил отважного противника. Теснее и теснее сжималось горло защитника. Положение стало критическим для неизвестного, тем более что великан, вероятно уже сообразивший, что дело его из рук вон плохо, если противник останется в живых, напряг свои мышцы, чтобы сокрушить его.

Вдруг великан заревел, словно укушенный бешеным волком. И действительно, его укусил — только не бешеный волк, а наш знакомец Петька. Двое буршей, сообщники Индрика Притца, схватившие его и старуху, вели их далее по направлению к порту, грозя утопить в Двине, если они осмелятся крикнуть. Каким-то чудом удалось Петьке ускользнуть из рук здорового парня. Парень бросился догонять его, но юркий мальчик успел ускользнуть от преследователя. Да и этот последний не очень охотно гнался за ним. Он предполагал, что хозяин уже покончил свое дело, т. е. унес девушку или в лес или в лодку, которая на всякий случай стояла там, где была воздушная лестница, сводившая в купальню. Петька, собственно, нигде не прятался, он лег ничком посреди дороги и пластом лежал на ней в предположении, что не станут его искать тут, а отлежавшись, помчаться к месту борьбы. Увидев великана, он схватил его за ноги, стал неистово кусать — и достиг своей цели: великан, испустив дикий крик бешенства, выпустил и пленницу, и ее защитника. Индрик сообразил, что шансы на победу потеряны, потому что хотя он мог бы удрать всех этих противников, но пленницу все-таки не мог бы залучить туда, куда хотелось. Кто-нибудь, хотя избитый, мог ускользнуть и донести полиции. Он предпочел удалиться, но уходя сказал:

— Помни, молодой барич, что я когда-нибудь с тобой расчетведу. А и ты, красавица, не минешь моих рук . . . Мы еще сойдемся, свидимся! Будьте здоровы и счастливы! . . .

— Машенька, Марья Гавриловна!.. Как я рад, что все благополучно кончилось!.. Но... как же вы... неосторожны...

— Иван Ерусланыч... Иван Ерусланыч... виновата пред вами!.. Век не забуду вашей услуги... Не браните, сами знаете, какая я взбалмошная, — отвечала девушка.

Туши страшно насупились, гром почти беспрерывно гудел вдали, капли дождя уже падали на путников. Петька быстро побежал вперед, чтобы догнать мамашу, выручить ее из беды, если нужно, или хотя порассказать о своем геройстве. Молодые люди остались одни, и они через минуту уже были в порту, близ «Каменного Мешка», так называется и поныне существующий тут каба<sup>1</sup>, где они уже могли считать себя свободными от всяких посягательств, потому что тут кроме кабака были уже жилые дома, особенно дом благочестивого купца Ф. А. Л.<sup>2</sup> Здесь можно было переждать, пока какие-нибудь запоздалые добрые люди, почитатели Лиго Яна, будут возвращаться домой, и к ним, к их компании присоединиться. А то, может быть, и извозчик попадется, хоть на это нельзя было надеяться, потому что тогда извозчиков было очень-очень мало.

Иван Ерусланыч, человек по отзыву Машеньки противный, был вовсе не Иваном Ерусланычем и уж никак не противным. Он был очень приличный молодой человек, с умными чертами лица, симпатичною физиономиею, но еще, видимо, не дозревший или, как в старину говаривали, не перебившийся. Он даже не сложился окончательно и, имея высокий рост при относительной худобе тела, походил на спичку, был очень высок ростом, — в силу чего и прозвал себя сыном известного сказочного богатыря Еруслана Лазаревича Иваном Ерусланычем. Лодку он имел секретно от своего дяди. И в этот достопамятный день Машенька у него попросила покататься на ней с бабушкой. Иван Алексеич с удовольствием согласился на то, но с условием предоставить и ему удовольствие покататься с ними. Машенька сначала согласилась, но когда бабушка стала ей давать наставления, чтобы она

вела себя поосторожнее с молодым человеком, чтобы люди чего не болтали, то Машенька, — ведь мы уже сказали, что она была очень избалованная, капризная, — наотрез отказала в удовлетворении его условия. Она сказала, что как ни желательно ей покататься на Двине, но она будет сидеть дома, если он будет настаивать на своем условии. На замечание молодого человека, что кто же будет грести, Маша очень резонно ответила, что повезет их Петя. Петька действительно хорошо мог и грести, и управлять лодкою: он жил на водах придвинских и все свое свободное время употреблял на рыболовство и плаванье на лодке. Иван Алексеич оскорбился отказом, но не показал виду, что сердится, и дал им лодку, которая у него постоянно стояла в порту за замком на цепи под наблюдением сторожа, подрядчика госпитального. А сам отправился на цветочный рынок, где скоро забыл (ему было всего лет 25) и красавицу капризную, и ее проводников. Вечером, возвращаясь домой с приятелями, ехавшими в Красную Двину, потому что жили на Верманской лесопильной фабрике, он случайно натолкнулся на сцену вышеописанную. Еще издали услышал он коротко знакомый ему голос и поспешил к месту опасности.

Ивану Алексеичу очень нравилась Марья Гавриловна, и Марья Гавриловне очень нравился Иван Ерусланыч, потому что оба были действительно хороши, но почти целая бездна разделяла их между собою. Оба они были богаты, как птички Божьи, и оба были только хорошими, но ни к чему неспособными людьми, которые однако ж очень хорошо понимали необходимость жить х о р о ш о. Вся надежда молодого человека заключалась в старом дяде-скупце, все сокровище Машеньки — в ее хорошей особе. Стало быть, им всегда на ум приходила теорема: бедным жениться лишь нищих умножать! Но Иван Ерусланыч никогда ни единым словом не заикнулся об этом. Он, словоохотливый вообще, даже многоглаголивый до легкомыслия, хранил на этот счет упорное молчание. Как же он не противный? Можно ли на такого человека взирать с улыбкою? Ни за что, никогда!..

Гроза между тем разыгрывалась не на шутку. Гром, так сказать, остановился почти у самого «Каменного Мешка», едва можно было сочечь от пяти до десяти между молниею и громом.

<sup>1</sup> Очевидно, имеется в виду торговый дом с питейным заведением купца Лелюхина.

<sup>2</sup> Возможно, анаграмма купца Алифанова.

Молния прорезывала воздух во многих местах, а гром был почти беспрерывный. Дождь пошел как из ведра.

Наконец, когда уже почти добежали до «Каменного Мешка», молния озарила темень неба и раздался трескучий оглушительный гром, как будто самое небо все со своими звездами и планетами обрушилось над ними. Машенька судорожно схватилась за шею Ивана Ерусланыча, да так и обомлела. Вслед за ударом молния снова сверкнула, и при свете ее Иван Алексеич увидел, что на груди его прелестнейшее существо.

— Машенька, милая Машенька, — воскликнул он, когда она скоро оправилась от испуга и обморока, — о, как же ты хороша! Благодарю эту грозу, этот случай, которые свели меня с тобой . . . Клянусь этими громами небесными, что век не разлюблю. Пусть они убьют меня, если я лгу! . . . Как скоро получу согласие дяди, явлюсь с предложением . . . Скажи, моя дорогая: любишь ли ты меня, твоего невольника, кабального невольника? . . .

— Ваня! Давно тебя люблю, — ласково сказала Машенька. — Но . . . не ты мой невольник, а я в вечной кабале у тебя! . . .

Так вот каким образом оправдалось заглавие этой главы и каким образом стало, что Машенька очутилась в вечной кабале Самсона, своими собственными хорошенькими устами отказалась от своей воли.

#### IV. СКУЧНОЕ, НО НЕИЗБЕЖНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ О ГЕРОЯХ

Как иногда можно, не подозревая даже того, сделаться героем! В указе Калины Калиныча Калинина, рядового . . . ского пехотного полка, например, значится в графе о наградах: получил медаль за войну против соединенных сил Франции, Англии, Пруссии и Сардинии. Шутка ли, один против стальных сил! . . .

Но только Гомер нынешнего времени в звании полуграмотного полупьяного полкового писаря, при бесконтрольности полкового адъютанта мог сотворить героя из Калины Калиныча Калинина, а по совести, герои и героини встречаются в наличности очень редко, причем разумею только нашу низменную среду. Героев нет нынче! Были они прежде, а теперь нет, даже быть не может, потому что все мы герои — или ничто!

Все это говорится к тому, чтобы честная рижская публика не ждала от наших действующих лиц ничего героического, даже просто рыцарского. Почтеннейшая публика, конечно, догадалась (о, она очень догадлива, пусть будет особенно такую догадливою к санитарным нуждам армии, а также и к семействам армейцев, вызванных на поле брани!)<sup>1</sup>, что Ванюшка и Машенька, пусть герой и героиня повести, — но уверяем вас, что это так и не так! Действительно, суть герой и героиня повести, но в действительной жизни должны занять самое скромное место. Правда, Иван Алексеич явил героизм, ополчаясь на голиафа Притца без пращи Давидовой и силы Давида. Еще больше, правда, явил он рыцарства и героизма, когда остался на месте подвига один-одинешенек с прелестнейшею девушкою. Все это правда, но все-таки он не был героем, как равно она героинею. Но начнем по порядку их формулярный список, только без означения года, месяца и числа.

Начнем с нежного пола, ему везде преферанс в смысле преимуществ, по крайней мере пока он в состоянии непорочного девства, украшенного хорошеньким личиком, в хорошеньких рамках хорошенького состояния, а после как уж бог пошлет! Мария Гавриловна была, как выше уже сказано, круглая сирота. Отец ее, служивший на Кавказе, умер смертью героя в звании субалтерна<sup>2</sup>, след., не дослуживши срока пенсионера. Мать ее почему-то даже и не претендовала на этот пенсион, хотя была очень небогата . . . И она тоже умерла вскоре, но она была сродни Матрене Прохоровне Мешковой, бывшей тогда богатою. Схоронивши свою племянницу в девятом колене, схоронивши со славою, так что похороны ее стоили больше ста рублей, потому что и панихиды служились, и псалтырь читался, и освещение церкви великолепное было, и место хорошее на кладбище куплено было, и катафалк нанят был, и кутья с возлияниями явилась, — она задумалась, что делать с сироткой. Купчиха пришла к тому убеждению, что следует взять ее за дочь, потому что ей вот уже стукнуло 40 лет, но детей Бог не дал, и сомнительно, чтобы были. Бог, как бы награждая их доброе дело, дал им Петьку,

<sup>1</sup> Повесть написана во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

<sup>2</sup> Младший офицер.

который родился спустя два года после усыновления Машеньки.

Пока дом благодетелей, приютивших Машеньку, был дом богатый, жизнь ее была жизнью чуть не принцессы, ее лелеяли, целовали, баловали как Божий дар. Обращение с нею не изменилось и тогда, как появился на свет наш Петька. Дом купеческий не стеснялся в средствах жизни, по крайней мере так думала хозяйка дома, полюбившая Машеньку пуще своей родной дочери, потому что будь Машенька родная ее дочь, она бы за капризы и выдрала ее за уши и побиранила бы крепко и, пожалуй, по прежнему обычаю, посекла бы. Но ее всегда стесняла мысль: она и без того сирота, и без меня будет кому бранить и обижать ее. Муж тоже любил Машеньку по-своему, т. е. не отказывал ради угождения ей ни в чем, а в нуждах и подавно. В силу всех таких счастливых обстоятельств Машенька выросла самою красивою, но и своевольною девушкою, очень и очень заносчивою, разборчивою в женихах. Заносчивость и разборчивость ее усилились особенно в то время, когда она кончила курс учения примусом в каком-то пансионе в 15 лет. В то время в нашей Риге и не мудрено было достигнуть премьерства в школах; их было немного, предметов преподавания еще меньше, анисходительности целая бездна, так что можно было ученику-ученице с порядочными способностями и при маленьком прилежании прослыть чуть не феноменом ученицы. Это не то что в нынешнее время, когда с милых барышень спрашивается в гимназиях и физика, и геометрия, и педагогика, и математика, и даже мертвые языки, и разные предметы знания. Машенька не была особенно прилежна, но была в высшей степени понятлива.

Года два перед этим положение приютившего ее дома быстро перешло к худшему. Хозяин дома, в котором хозяйка видела всегда свое «красное солнышко», своего «соколика», не отказывал себе находить иную луну не у «домашнего очага», на котором законная «луна» приготавлила жирные пироги и еще более жирные жаркие с соусами, а где-нибудь, напр. в ресторации на Красной Двине, под вывеской Гольдская, причем требовались и арфянки, и ужин, и шампанское, и катанье по Двине до Мюльграбена<sup>1</sup>,

до Киш-озера и куда угодно, сухим и мокрым путем, *in duo*<sup>1</sup> и более, и в разуме и как придется, но всегда без воззрения на то, как распоряжаются люди в магазине. Случалось и баничк метнуть с кем-нибудь. Случалось, что этот кто-нибудь был ближним в виде шулера. Да мало ли что случалось? Разве мы не видим повторения всего этого во многих купеческих домах? Кончилось тем, что в один прекрасный день все имение забаловавшего купчика было продано с молотка, а сам он переселился в елисейские поля. Каким-то чудом уцелел домишко деревянный в одной из задних улиц за Покровским кладбищем, — домик, принадлежавший доходу рублей 200 в год. Переход от богатства к бедности был очень тягостен для семейства, но все-таки не был убийственен, потому что старушка успела кое-что спасти от страшного крушения, а Петрушка был отдан в мальчики к одному богатому англичанину, имевшему торговую фирму в Риге, с условием выучить его всевозможным наукам и языкам. Не знаем, насколько мальчик в 15 лет научился всем возможным наукам и языкам, но в эпоху домашней катастрофы он уже получал небольшое жалованье, из которого мог, будучи в высшей степени аккуратным мальчиком, уделять кое-что обедневшим матери и племяннице. Короче, как-то приловчились к своему новому положению. Одна Машенька не примирилась с ним в душе. Она никак не понимала существования х о р о ш е н ь к о й без кареты, без абонемена в ложе, без костюма по последней картинке французских мод и прочих удобств жизни, к каким приучена была покойным дедушкой. Она уже не требовала ничего особенного ни для себя, ни для туалета своего, но крепко обижалась на судьбу и дала слово век не выходить замуж, если суженый будет голыш. Бабушка тоже утверждала ее в этой решимости. Иван Алексеич был подходящим женихом, но он долго не изъяснял твердого и неуклонного желания взять себе в жены сию непорочную, но прихотливую отроковицу: он имел не богатство, а шансы на богатство, был красив, добр, почти умен, уступчив, просто муж, каких редко поискать. Когда же случай в теснине Кумминговской н а т о л к н у л

<sup>1</sup> Прежнее название Милгрависа.

<sup>1</sup> Вдвоем (латин.).



их друг на друга и он высказал свое намерение, она сочла себя счастливой и без колебаний отдала себя в кабалу ему.

Почему Машенька нашла Ивана Алексеича соответствующим своей идее о женихе? Какие шансы на богатство он имел? И кто таков он сам?

Если бы о молодом человеке требовался формуляр с показанием, что он сделал или кончил, то о нашем Ваничке следовало бы дать отрицательный отзыв по всем отраслям человеческой деятельности и звания. На вопрос: кончил ли он курс наук? — следовало бы отметить: не кончил, только поучился кой-чему в . . . ской гимназии. Служил ли где? — во многих местах, нигде ничего не достиг. Был в юнкерах — тогда это было легко! — но через год уволен в отставку с званием унтер-офицера (тогда это тоже было так!), поступил потом в гражданскую службу, но вышел из нее, получивши первый чин.

Чем занимался он теперь? Да ничем, если не считать за что-нибудь постоянное шмыганье его на Двину с удочкою, для чего собственно и имелась у него душегубка с целым припасом и донных, и поплавных, и щучьих удочек, и блинок, и сморгалок, и всяких других удильных снарядов.

В чем же заключались шансы его на богатство, в силу чего, несмотря на то, что он был в умственном отношении недорослем, делали его в глазах Машеньки завидным женихом?

В дядюшке его! Но кто такой дядюшка?

## V. МОЙ ДЯДЯ САМЫХ ЧЕСТНЫХ ПРАВИЛ

Во время оно тепло было быть владыками воинских частей, даже такой маленькой частицы, как рота, команда, полугоспиталь и т. д. Как выделялось это хорошее, теплое, для нас непостижимо, но так практически хорошо, что деятели, в формулярах которых значилось, что произведен из писарей, имения ни за ним, ни за родителями, ни за женой его не имеется ни наследственного, ни благоприобретенного, являлись по прошествию нескольких лет владельцами изрядных имений, движимых и недвижимых, имея на груди очевидные свидетельства своей честной деятельности в виде разных зна-

ков отличия, что подавало им повод свысока, через плечо глядеть на штафирок-приказных, которые до того были подлы, что унижались брать гроши с челобитчиков. К счастью, это время уже миновало, переселилось в Турцию и к возвращению в Россию невозможно. Но было — было то время!

Во время-то оно жил и служил в комиссариатском ведомстве Нил Ефимыч Козляков, состоя в звании коллежского, а потом и статского советника, след., занимая одно из теплейших мест империи, потому что тогда подобные чины давали право на самые солидные места с почти тепличною теплотою. Вдобавок к этому место служения г. Козлякова был Кавказ, где было не только тепло, но и жарко служащим. В звании писаря он был аккуратен, трезв, покорно безответен, вследствие чего произведен в регистраторы, что открыло ему торную дорогу к разным тепленьким местечкам по комиссариатскому ведомству. Переходя с одного хорошего места на другое лучшее и всегда в видах пользы службы, с перебоем одного начальника у другого, с отличными аттестациями от каждого, он успел и чины с отличиями заслужить, и в карман кругленькую сумму положить. Лет в 55 от роду он вышел в отставку в звании его превосходительства и поселился в Риге, где жил так скромно, что его считали не более как барнином, что, как известно, не равняется даже «его благородию».

У его превосходительства была сестра Аннушка, приличная девушка, разумеется ничему не учившаяся. После того как Нил Ефимыч стал на ноги, он вспомнил о своей сестре, которая с громким плачем провожала его, бежа за телегою, на которой увозили его кантонисты — в уездный город для отправки в кантонистское училище, вспомнил и вызвал ее к себе, чтобы предоставить ей заведование хозяйством, а при случае и пристроить в замужество. Устроилось последнее, потому что Аннушка, хоть и безграмотная, приглянулась одному из подведомых ему чиновников Алексею Петровичу Пятницкому, человеку тихому, спокойному, доброму. А понравилась тем, что и сама подходила ему характером с прибавкой особенной чистоплотности, аккуратности в хозяйственных порядках и добрым симпатии

ческим лицом. Нил Ефимыч с радостью дал согласие на брак, был отцом посаженным на свадьбе, восприемником, когда родился Ваничка, и вообще всеми силами, влиянием и даже собственным карманом содействовал счастью молодых. Наверное, карьера молодых кончилась бы статским советничеством и обилием банковых благодатей, если бы не подкосила их безвременная смерть: оба они погибли в одну холеру, сначала муж, а потом, через день, любящая жена, так что оба успели быть погребенными в один день, в одной могиле, рядышком друг с другом, так что, казалось, и за могилою не желали расставаться друг с другом. Нил Ефимыч, бросив три горсти земли на гроб любимых существ, прошептал над ними клятву быть отцом их Ванички, но только не баловать его. Он по-своему свято выполнял эту клятву. Племянник-крестник сначала в высшей степени оправдывал надежды дядюшки: лет до десяти с точностью машины выполнял дневное расписание, потому что иначе ожидали его увещания в форме березового веничка без листьев, без всякого послабления, хотя и без особенной жестокости. Но потом начались уклонения Ванички с дороги автоматического исполнения долга, они с каждым годом учащались и усиливались, несмотря на увеличение увещаний, даже как бы наперекор им. Кончилось тем, о чем мы уже имели честь докладывать почтеннейшей публике: коллежским в отставке регистраторством Ванички. Дядюшка давным-

давно уже прекратил свои вещественные ему увещания (словесных он делать не умел!), и все его старание обуздать Ваньку состояло в том, что он назначил ему 15 рублей ежемесячного содержания при готовой квартире (т. е. каморке) у него и в паре платья в год. Делал ли племянник случайно маленькие долги и обращался ли к дяде, дядя только подтрунивал над ним. Просил он об одолжении вперед в счет своего пенсионера, дядя, издеваясь, спрашивал его: «А что, Ванюша, милосердный Царь Небесный исполнит ли твою молитву выдать тебе вперед дней хоть десять жизни? Нет, не услышит он твоей такой молитвы! А как же ты хочешь, чтобы я дал тебе наперед десять рублей серебром? Ведь на рубль-то серебром я сколько могу сделать хорошего! А что хорошего из того, что ты все дни свои употребляешь на усердное служение в комитете утапывания грязных площадей и шлифования безвозмездно городских тротуаров, преимущественно по направлению к Красной Двине? .. Нет уж, Ваня, ты вперед меня ни о чем не проси... Ведь терпит Он, терпит, да и терпения не станет. И легко может стать, что завтра же истяжут от тебя или от меня грешную душу нашу. Так как же я могу вперед выдавать жалованье? Нет, милый мой Ваничка, не дам, и ты лучше не проси, а прижайми, а еще лучше заработай где-нибудь. Ведь в самом деле, не вечно же тебе так-то быть...»

**Продолжение следует**

## УДИЛЬЩИК НА ДВИНЕ

И так-то всегда, словно не солоно хлебавши уходил от своего дядюшки Ваничка. Если случалось, что Ваня слишком назойливо приставал к нему, дядюшка, кротко вздыхая, прибавлял: «Милый крестничек, да ты подумай, что я не перестарок еще, могу жениться. Так зачем же мне тароватиться, не в коня корм кормить — тратить? Ведь ты, беспутный, и гроша сам-то не стоишь, а я тебе 15 целковых отсыпая, великолепную по твоей беспомощности квартиру даю и одеваю. Какого же рожна желать от Христа, Бога нашего, и твоего дяди? . . . Ваничка, если ты будешь приставать, то я вот сейчас попрошу Минну Карловну (ключница дядюшки, немка 30 лет) сходить к пастору и попросить о выключке . . . Пусть же дети по крайней мере промотают мои крохи! . . .»

Подобные ответы, аккуратно всякий раз отпускаемые Нилом Ефимычем вместо наличной суммы, им просимой, отводили его от просьб. Ваня всегда был предзанят мыслию: да зачем же мне хлопотать о чем бы то ни было? У дяди денег много, а я у него один! Что он страшает женитьбою, то это — дудки! Куда ему, старому хрычу! Нужно потерпеть, чтобы не довести старого упряма до крайности! . . . Ну и потерпим, нечего делать . . . Потерпим, хоть это и больно, потому что лучшее время жизни проходит без всяких удовольствий. Это кремень, а не человек, разлюбезный мой дядюшка. Он не современный человек, он какая-то египет-

ская мумия по своим отсталым понятиям о потребностях молодого поколения! . . .

К этому-то кремню-человеку отправился Иван Алексеич в тот же вечер с важною целью. Он благополучно довел свою невесту Машеньку до дома, рассказал все обстоятельно Матрене Прохоровне. Матрена Прохоровна от радости только всплеснула руками и дала свое согласие. Она знала коротко Ивана Алексеича, потому что ее скромный домик был рядом с квартирою Нила Ефимыча, так что она видела его каждый день и нередко была свидетельницей того, как он и внучка упражняются в прицельной стрельбе словами и глазками, сказывавшейся до сего времени безрезультатною. Хотя она ведала доподлинно, что у Ванички нет и гроша за душой, но . . . за ним стоит холостяк-дядюшка, которого, по словице, не купить и за сотню тысяч. Стало быть партия самая завидная. И вот, отобравши благословение от Матрены Прохоровны, Иван Алексеич поспешил явиться к дядюшке. Времени было еще достаточно, несмотря на позднюю пору ночи, потому что дядюшка, страдая сухими мозолями, ложился поздно, очень поздно, чтобы успеть, измучившись бессонницею, уснуть хоть несколько часов покрепче, и рад был, когда кто-нибудь развлекал его сон, лишь бы мог, беседуя с ним, удовлетвориться бутылкой бейриша с селедкой, куском 20-копеечного сыру.

Несмотря, однако, на легкий доступ к дядюшке, племянник порядочно трусил, подходя к дверям его апартаментов, состоящих из двух комнат с кух-

---

Продолжение. Нач. см. «Даугава», № 2.

нею, в которой имела свое царственное пребывание Минна Карловна. И было от чего трусить: дядюшка сентябрем смотрел на юношей в звании коллежского регистратора в отставке, желающих обратиться.

Одно утешало Ваничку, что Машенька всегда производила какое-то особенное впечатление на дядюшку. Он всегда как-то особенно ослаблялся, когда встречал ее, даже дарил ее ласковыми словами, с некоторым подмигиванием. Иван Алексеич много-много раз прочитал про себя: помяни, Господи, Давида и всю кротость его, прежде нежели решился войти к дядюшке, в темное, позднее притом время. Минна Карловна уже разоблачалась, когда он постучался в дверь кухни, и чрезвычайно удивилась его появлению, потому что Иван Алексеич, считая дядю скрягою, редко являлся к нему, а ночью почти никогда, и потому еще, что костюм его после борьбы с Индриком Притцем был в большом беспорядке, а Минна Карловна, после Евангелия, первым долгом считала порядок во всем.

— Дорогой мой дядюшка, отец и благодетель, я к вам с великою просьбою! — воскликнул юноша, страстно бросаясь к дядюшке с целью подкупить его благорасположение.

— Потише, потише, племянник! — отвечал дядюшка, слегка отстраняя его любезное поползновение. — Не сбей моего ночного копака, а главное говори поскорее, что тебе нужно, потому что спать пора. А еще главнее, не испорти моего сна какими-нибудь глупыми просьбами о пособии...

— Нынче, дорогой дядюшка, не о пособии тут дело идет, а о счастье целой моей жизни.

— А!.. Это дело другое — говори!

## VI. ЖЕНИСЬ, ВАНИЧКА, ЖЕНИСЬ, ГОЛУБЧИК, ПОРА И УМКОМ И ДОМКОМ ОБЗАВЕСТИСЬ

— Ба, да что это такое вижу? — воскликнул дядюшка, поднеся свечу, т. е. салыный огарок, к самому лицу племянника и внимательно осматривая его с головы до ног. — Ты, разлюбезнейший, можешь быть наилучшим изображением Петрушки Грибоедова в его «Горе от ума!»... — и дядюшка тут густым басом, почти нараспев протя-

нул, принявши театральную позу: «Петрушка, вечно ты с обновкой, с разодранным локтем!» На тебе такой костюм, будто ты сейчас явился с мамеева побоища.

Да не подумает читатель, что Нил Ефимыч был почитателем и читателем произведений литературы и поэзии. Отнюдь нет! На эти произведения он смотрел, как большинство чиновников тогдашнего времени, если не с презрением, то с глубоким сожалением. Писаки, только людей баламутят. Будь они в моей власти, я бы их всех по канцеляриям порассажал: ты вот где пиши! Ты тут пользу приноси! А иному сказал бы, припугнувши еще: ты, братец, сперва почерку научись у полкового или особенно квартирмейстерского писаря. Ты худо, неразборчиво, грязно пишешь, даром что ученым себя считаешь!..

Но несмотря на такое отношение к музам, его превосходительство любил выхватывать отдельные фразы, особенно подходящие к его умозерцанию, чтобы при случае и похвалиться, что он не совсем отсталый человек, а читает кое-что, даром что недоволен чтением, и поразить человека меткою фразою. Особенно понравилась ему фраза о Петрушке: будучи сам в высшей степени аккуратен во всем, он был восхищен до высшей степени, когда в первый раз услышал эту фразу на театре (театр он любил посещать, впрочем не для того, чтобы услаждать слух, а чтобы тешить зрение) и решился сделать ее девизом в деле разыскания с неряшливой прислуги и с прочего человечества, которого сие касалось.

— Вы угадали, дядюшка, — отвечал Иван Алексеич, нимало не струсивши перед строгою ревизией дядюшки. — Я действительно имел честь явиться к вашему превосходительству с побоища, хотя и не мамеева!.. Я...

— Очень хорошо, очень хорошо! — прервал его дядюшка с саркастической улыбкою. — И почему такому молодцу не подражать? Почему, когда нет других занятий, не подставить и своих боков под кулаки другого? Почему...

— Но, дядюшка!..

— Но, племянничек, позволь мне закончить!.. Почему же не пожертвовать при этом и костюмом? Ведь дядя новенький сошьет!.. Но в этом ты, Ваничка, ошибся. Но я дивлюсь, зачем ты явился сюда с докладом о своей новой богатырской способности! Я спокойно



Лодки у Придвинского рынка. (1900—1905 гг.)

бы заснул и без этого доклада! А теперь — покойной ночи!

— Выслушайте меня, дядюшка, и потом судите, как хотите! Я не только не виноват, но заслуживаю одобрения.

Дядя, который поднялся было уже уйти в спальню, остановился и строго спросил:

— С кем же ты сцепился?

— С Индриком Притцем, дядюшка...

— Как!.. — воскликнул дядюшка с видом крайнего изумления, гнева и огорчения. — Ты осмелился оскорбить такого хорошего человека?!

Здесь необходимо сказать, что дядюшка имел с Притцем довольно значительные денежные дела. Притц, расширяя свои торговые операции, почти всегда, несмотря на солидное имущество, имел нужду в наличных деньгах. И часть капиталов г. Козлякова была у него в обращении. само собой разумеется, что вверенный в ссуду капитал был аккуратным и опытным в таких делах дядюшкой совершенно обеспечен, так что ни в каком случае пропасть не мог и давал самые высокие проценты.

Если бы известное торговое предприятие, на которое отпущалась ссуда, не удалось Притцу, то он обязан был заплатить законный процент и ссуду г. Козлякову, не делая его участником в убытке. Иными словами: его превосходительство имел много шансов на получение 20 и более процентов с капи-

тала и ни одного шанса на понижение их ниже самого высокого казенного процента, притом так, что никто не мог придаться к нему за то, что он ростовщик. Притц более года уже вел такие дела с г. Козляковым и вел, надобно сказать правду, весьма честно. И вот, бывая изредка по этим делам у г. Козлякова, он увидел Машеньку и был поражен ее красивым личиком, а впоследствии и маленьким кокетством. Но Иван Алексеич едва знал Притца. Понятно поэтому удивление, огорчение и гнев дяди, когда племянник доложил ему, что драка сочинена с Притцем.

Тут племянник, не смущаясь выражениями дядюшки, рассказал все по порядку с малейшими подробностями, из-за чего и как произошла драка. Нужно было все красноречие правды и любви, чтобы убедить старого упрямца. И это в конце концов удалось-таки племяннику, хотя и с величайшим трудом. Дядя принужден был согласиться, что Ваничка поступил хорошо. Мало того, свое одобрение он до того простер, что сей же час отсчитал ему 25 р. на костюм (конечно, имея в виду вычесть эту сумму случайного расхода с Притца, так как расход из-за него сделан, да и слупить с Притца наивысший процент) и в довершение благоволения приказал Минне Карловне подать две бутылки баварского, селедку (биргерскую) и сыр. Водки ни племянник, ни дядя не вкушали.

— Я уверен, что после такого подвига ты чувствуешь волчий аппетит. Садись же и закуси. Стаканчик пива и я с тобой выпью.

Но Ване было не до закуски, у него на сердце кошки скребли, как завести речь, имеющую целию исторгнуть у дядюшки согласие и благословение на брак с милой Марьей Гавриловной. Ему хорошо было известно, как дядюшка смотрит на подобные браки. Наконец он начал:

— Дорогой дядюшка, я вошел к вам, помните, с великою просьбою о счастье целой моей жизни.

— Помню, друг мой, и сам хотел спросить тебя о разъяснении этой загадки. От чего зависит счастье твоей жизни?

— Милый мой дядюшка, я хочу просить вашего совета и содействия...

— Ну?

— Что вы, дядюшка, думаете о Машеньке моей?

— Какой твоей Машеньке?

— О той самой, которую я нынче вырвал у Притца, о нашей молодой соседке, внучке Матрены Прохоровны Мешковой?

— Да что же мне, на старости лет, думать о ней? Не думаю, племянник, ничего.

— Я не о том, дядюшка.

— А о чем же?

— Скажите мне, как вы думаете, способна ли она по своим качествам составить счастье человека, если бы он женился на ней?

— Это, любезный, как кому придется.

— Если вы, дядюшка, отказываетесь высказать ваше мнение о ней, то позвольте мне высказаться пред вами.

— Э, Ваня, какой же я тебе духовник? Лучше сходи к попу, да и вообще отложи разговоры, ведь спать давно пора! — отвечал дядя, уже с первого раза догадавшийся, о чем пойдет речь.

— Нет, дядюшка, вы меня должны выслушать.

— Ну, нечего делать, говори, только поскорее, и, главное, выпусти руку-то мою.

— Дядюшка, я думаю, что Машенька есть редкая девушка!

— Да, в нашем околке!

— Премилая, прелестная, прекрасная девушка!

— Ничего себе, недурна, только тре-

бует выправки, у нее манеры иногда очень нехороши.

— Дядюшка, она может составить счастье мужа, принести радость, удовольствие в дом.

— Да, как-нибудь проживут свой век, если найдется ей такой муж, который обеспечит ее стотысячным капиталом.

— Дядюшка, я вижу, что вы предрешены против милой моей Машеньки, но это напрасно!

— Нисколько, мой милый! Я отдаю ей справедливость, она бесспорно будет отлично невестой, будет, но не теперь. Но для меня странно, почему ты называешь ее своею?

— Дядюшка, признаюсь вам откровенно, я давно люблю ее. Прежде я, так сказать, неясно сознавал, что люблю. Но сегодняшний случай подвинул нашу любовь. И я явился, чтобы испросить ваше благословение на брак, от которого зависит и мое и ее благополучие. Я и она горели нетерпением узнать свою участь, услышать из ваших уст приговор!

— Ты, Ваничка, напрасно беспокоись о моем благословении. Путного в тебе, холостом, я ничего не вижу. Авось, когда будет семья, волею-неволей серьезнее взглянешь на жизнь!..

— Итак, дядюшка, вы согласны?

Дядюшка благодушно отвечал:

— Женись, Ваничка, женись, пора и умком и домком обзавестись!..

Словно ошеломленный, стоял Ваничка, не веря своим ушам. Дядюшка без сопротивления сдается ему! Придя в себя, он бросился на шею к дядюшке, стал неистово лобызать его, величая нежными названиями. Дядя почти наильно вырвался у полусумасшедшего.

— Ну, теперь я могу сказать: покойной ночи? — спросил он у племянника. Но тот не трогался с места. Нужно было добиться, сколько милый дядюшка назначит содержания молодой чете. Племянник мялся высказать это. Но дядя был догадливый человек, он отчеканил ему вот что:

— Так как я уверен, Ваничка, что ты, имея в виду жениться, имеешь также в виду и средства к жизни, не касаясь меня, потому что иначе ведь ты бы женился на мой счет, то я вот что тебе обещаю, во 1-х, я буду твоим отцом посаженным. Согласен на это?

— Милый дяденька, можно ли об этом спрашивать?

— Хорошо! Вот этим образом, — и он указал на передний угол, — я благословляю тебя. Он стоит больше ста рублей. Во 2-х, сошью тебе новую пару платья и полдюжины белья. В 3-х, дам тебе 100 р. на первоначальное обустройство и 25 р. на свадьбу, потому что уверен, что свадьба у тебя, как совершенного голяка, будет скромная. Наконец, в 6-х, ты можешь прожить почти год в моей собственной квартире, потому что за нее заплачено в начале июня за год вперед, а мне она ненужная, потому что, признаюсь тебе, и я увлекся твоим примером, хочу жениться. Только я не прихотлив, как ты, я беру хозяйку заботливую, работающую, умную, немолодую, словом, Минну Карловну. Я рассудил, что нам так-то жить? Лучше жить по-человечески, по-божьему... Я тотчас уеду из Риги после свадьбы, а теперь прощай.

И он ушел, заперся в спальне.

Гром и молния менее бы, кажется, оглушили Ивана Алексеича, чем эти пункты обещаний любезнейшего дядюшки.

## VII. НАКАНУНЕ ЛИГО ЯНА

Всю ночь не спала Машенька после признания, сделанного ей Иваном Алексеичем. Она теперь знала, что любовь принесет ей все радости, все удовольствия светской жизни, вырвет ее из медвежьих когтей бедности, заставит ее снова видеть те золотые сны барственной жизни, какие она видела когда-то в богатом купеческом доме. На тысячу ладов она вариировала прелесть будущего ее положения, как она прокатится на собственной паре к Миллеру, в Альтенау,<sup>1</sup> в клуб, в театр, куда душе угодно, разодетая по последней картинке парижского мод, при восклицаниях, то сдержанных, то громких: кто эта такая прекрасная дама? Много прелестных видений грезилось в грациозной головке Машеньки, так много, что считаем неделикатным утомлять читателей подробным исчислением таких сладостных грез.

Поздно, очень поздно, часу в 12-м, она поднялась с постели. Пробудив-

шись, она очень удивилась, даже рассердилась, не видя у ног своих героя своих грез, Ивана Алексеича, который обещал, как только она проснется, принести ей радостное известие о согласии дяди на их брак. Столь долгое отсутствие любимого человека, долженствовавшего ей подтвердить, что золотые сны ее скоро осуществляться, она объясняла тем, что, видно, и сам он, утомленный происшествиями вчерашнего дня, спит себе спокойно, или что с дядюшкой не успел с вечера объясниться и теперь вел словесное ратоборство, имевшее кончиться, конечно, полнейшею победою над его сердцем и кошельком. Позднее приводила другие более или менее благовидные объяснения такого отсутствия, — и была спокойна. Но когда герой ее не явился после двух-трех часов, недоброе предчувствие подсказало ей, что дело их не совсем-то клеится, что Ваня ее, видно, встретил такие затруднения в своем походе на сердце и кошелёк дядюшки, которых доселе не перемог, не пресилил. Тогда Маша предалась глубокому отчаянию, основательно рассчитывая, что Ваня встретил непреодолимые препятствия к их соединению и теперь совестится показаться на глаза. Матрена Прохорова пыталась было ее успокаивать, резонно представляя ей, что таких шалопаев она может найти две с половиной дюжины каждый день. Машенька в ответ только разливалась слезами. Ей казалось обидою, почему он даже в случае неудачи не пришел утешить ее.

В самом деле, отчего же он не пришел?

Не пришел он утром именно по той причине, которою и Машенька объясняла его отсутствие, т. е. он не хотел явиться к нареченной с нерадостной вестью, вестью о том, что если они хотят соединиться браком, то для дядюшки это трин-трава, такое плевое дело, что он даже не пытался отсоветовать его, но что они в таком случае должны надеяться только на себя. Зачем же и идти ему к Машеньке? Хорошо быть вестником чего-нибудь приятного. А худого, помилуй бог. Кстати припомнил Ванечка, что сегодня канун Яна Лиго, что в Альтенау будут огненные потехи, и решил развлечься. А в ожидании развлечения отправился за Двину, ловил рыбу, ловил так удачно, что и не видел, как время протекло... Фи, — скажут нам, какой гадкий наш герой!

<sup>1</sup> В районе нынешнего парка «Аркадия», по соседству с которым одна из улиц еще сохранила прежнее название местности — ул. Алтонавас.

Но уже сказано выше, что наши герои не суть герои в собственном смысле, а только вице-герои, занимающие это место только потому, что надобно же кому-нибудь в повести занять место примуса-примуссы. Наши герои не Вертеры, не Нероны, не Барбаруссы, а простые великоруссы.

Да и то сказать, надобно быть или очень занятым человеком или такою флегмою, как дядюшка, или, наконец, иметь другие удовольствия в доме, а пожалуй и неудовольствия вроде капризной жены, болезни и т. п., чтобы отказать себе в удовольствии побывать в Альтенау накануне Яна Лиго, на огненных потехах. Там происходит тогда чистое беснование с помощью пороха. Там пускаются тогда ракеты, шутихи вроде огненного змея. Бесчисленное множество не только мальчишек, но и взрослых людей с большими запасами этих снарядов с раннего вечера отправляются туда и пускают их в реку, к удовольствию и ужасу публики, особенно прекрасной (не всегда буквально). С чего взят и ведется такой обычай? Полагательно, что так же из языческих преданий, существующих во всей России, об огненном змее, который накануне Иванова дня прилетает к колдунам и колдуньям, ведьмакам и ведьмам,

спускается к ним сквозь дымовую трубу и рассыпается золотом, яхонтами у них в жилище, как платой за их усердную службу змеею преисподнему, ветхозаветному. Но от чего бы ни происходил этот обычай, он много имеет характеристического, занимательного, притом совершенно местного. С шестисеми часов начинаются там огненные потехи, сначала изолированно, тут и там, нетерпеливыми мальчишками, которых так и зудит пустить ракету или шутиху, припасенные ими часто на последние гроши, данные родителями на булку или в день рождения. Но более серьезные обладатели пороховых змеев берегут их на более позднее время, именно до девяти и более часов, когда при мраке ночи будет более эффектным огненное освещение. К этому времени они преимущественно и собираются. Почти бесконечная вереница карафашек, тележек и других легких экипажей, собственных и наемных, щегольских и скромных, везут публику на любопытное огненное позорище. Публика в ожидании потех, в разгаре их, а часть ее и после того, имеет возможность утолить жажду и в соседнем трактире, и в целом ряду временных кабачков-выставок, окружающих один холм, на котором прежде возвышался



Альтенау. Марининско-мельничный пруд. Фото начала века -



намет полковой церкви, когда полк стаивал один в Альтенау<sup>1</sup>. Между этим холмом с одной стороны, трактиром с другой и лагерными палатками с третьей на обширном песчаном пространстве, тотчас, как темная ночь, по большей части от туч, покрывает небо-склон, все пространство это освещается искусственным огнем ракет и шутих. Что такое ракеты, объяснять излишне, — это всякому известно, но шутиха есть почти та же ракета, но только пускается не вверх, а рикошетами между публикою, присутствующею при потехах. Само собою разумеется, что шутиха безвредна, что от нее можно поосторониться, но когда несколько таких шутих посылаются с разных сторон и летят с шумом, рассыпая миллионы искр, по разным направлениям, пересекая друг друга, лопааясь во многих местах, тогда нужно смотреть и смотреть, чтобы какая-нибудь не напраказывала с неосторожным зрителем. Сколько раз случилось видеть опаленные лица, сделавшиеся рожами, и посетительниц с подпаленными шлейфами. И не думайте, что пострадавшие возбуждают сочувствие в публике. Нисколько! Только смех, потому что серьезные увечия получить тут нельзя, а если человек решается попробовать, что такое шутиха, то отчего же не представить ему столь дешевого удовольствия? Часов в 10—11 выходят на сцену уже избранные артисты. И тут шутихи действительно принимают под их искусно в таких упражнениях рукою вид настоящего маленького сражения. Огненные змеи извиваются непрерывно по всевозможным линиям; от огня порой светло, как при свечах, а от треска, от громкого хохота веселой публики, от лопающихся ракет, от выстрелов в ушах звенит. Какое-то опьянение нападает на зрителя. То и глядя, какая-нибудь шутиха разорвется у тебя под носом, под ногами, опалит твои гороховые или клетчатые панталоны, но отойти тебе не хочется от огненного зрелища. Оно продолжается далеко за полночь, пока не иссякнет источник порохового запаса или насытятся жаждущие спиритизма души. Впрочем, это последнее продолжается еще долго после прекращения жажды к огненным

удовольствиям. Пройдите утром 24 числа в Альтенау, — и вы непременно увидите, что на многих берегах канав, на многих пригорках и просто где попало починут безмятежным спиритическим сном усердные почитатели Лиго Яна и Бахуса.

Иван Алексеич был особенный артист в деле пускания шутих. Его шутихи выделяли чуть не чудеса на пути своего следования. Они делали столько рикошетов, разрывались так искусно там, где вовсе их не ждали, что едва не каждую из них публика покрывала знаками своего неистового одобрения. И теперь он сам неистово предавался этому занятию, потому что, к чести нашего героя, мы должны сказать, что если он и пошел к Альтенау, то это вовсе не из равнодушия к Машеньке, а из печали по ней. Он желал забыться, забыться до беспамятства. С этой целью он прибыл сюда, запасшись несколькими дюжинами шутих, производил ими чудеса и еще не совсем истратил их, когда публика уже расходилась, развезжалась по своим местам и оставались здесь только записные любители Бахуса. Кучка таких любителей спокойно расселась при подножии холма и по-видимому надолго, потому что целая батарея водки и пива с закусками чинно дожидалась, когда они кончат ее, а кончить скоро не было никакой возможности, так как она была сформирована по усиленному военному положению. Много шутих летело на эту батарею, но воители ее были такой обожженный народ, который только громким смехом встречал легкие повреждения, причиняемые шутихами им и их орудиям.

— А что, господин, — сказал Ивану Алексеичу на ломаном русском языке какой-то прилично одетый незнакомец, — можете ли вы прогнать вашими шутихами этих молодцов, не давая им понять, что метите в них.

— Могу! А что же вам? — ответил Иван Алексеич, гордо и самонадеянно осматривая незнакомца.

— Можете? Я сильно в этом сомневаюсь, хотя признаюсь вам, был свидетелем вашей ловкости.

— А я вам говорю, что могу!

Потом, вынувши из мешка оставшиеся шутихи, которых было штук до десяти, он сказал:

— Вот этого достаточно, чтобы прогнать всю ватагу. Но я не хочу этого делать, зачем же их беспокоить?

<sup>1</sup> От того времени и ведет свое название улица Нометню (Лагерная).

— Не о том речь, господин, но я говорю вам, что вы не можете согнать их с места вашими шутихами. И готов держать пари с вами!

— Пари? А на сколько? — воскликнул Иван Алексеич, за живое задетый в самолюбии.

— На сколько вам угодно! — отвечал самоуверенно незнакомец.

— Хорошо! На бутылку шампанского и хороший ужин!

— Идет! И чтобы вы не сомневались, то вот вам 10 рублей. Если съебете эту батарею без особенного вреда артиллеристам, сами заказывайте ужин на двоих, а если нет — возвратите мне деньги, я большего от вас не требую, так как вижу, что вы небогатый человек.

Ваня действительно был одет дурно, в тот сюртук, в котором вчера ратовал с Притцем. Нового он еще не успел купить, а только заказал и отдал наперед деньги. Слыша от незнакомца, что он бедный, и вспомнив, что он мог и не быть бедным, если бы не скупость дядюшки, он покраснел, но сдержался и принял деньги... Еще раз, притом навсегда, замечу, что он не был герой!

Началась канонада. С первого же прицела, будто случайно сделанного, вышло из батареи: бутылка коньяку и бутылка баварского. После четвертого выстрела принуждены были переместить место, так как по крайней мере половина их батареи была разбита, уничтожена, да и им самим порядочно досталось по рождеству и прочим сусалам.

— Поздравляю вас, вы выиграли! — воскликнул незнакомец, восхищенный искусством Ивана Алексеича. — Поздравляю и нисколько не сожалею о проигрыше. Я имел удовольствие видеть искуснейшего стрелка. Пойдемте, выпьем и закусим!

Иван Алексеич, порядочно проголодавшийся, согласился.

— Куда бы нам? — сказал незнакомец, как бы раздумывая, где лучше им попить-поесть.

— Куда же как не в трактир? — возразил Иван Алексеич.

— Фи, в трактир! Чтобы есть подогретую гадость! Чтобы пить подслащенную воду вместо шампанского!.. Ни за что! У меня есть тут на примете один знакомый, у которого все имеется контрабандою. Идем к нему!

Ваня колебался. Незнакомец это заметил и добродушно сказал ему:

— Впрочем, как хотите! Если в состоянии удовлетвориться тем, что есть в этой корчме, которую величают гостиницей, то я очень рад. Я буду сопутствовать вам, но, извините, не буду участвовать в вашей трапезе. Но, виноват, должен сперва откомендоваться. Я барон Тейфельгаупт, любитель и искатель приключений.

Ваня более не колебался. И вот они скоро достигли одной лачуги в соседнем лесу<sup>1</sup>. Барон Тейфельгаупт, как только они вошли, запер дверь на ключ и крикнул:

— Подайте угощение! Гость явился!

В ту же минуту дверь из другой комнаты, составляющей вторую половину лачуги, отворилась, и взорам Ивана Алексеича представился г. Притц с двумя буршами.

— Измена, предательство! Карал! — закричал Иван Алексеич.

— Так точно, милостивый государь, — вскричал с громким хохотом Притц. — А чтобы вы убедились, что всякая надежда на помощь бесполезна, то вот крикну и я, кричите и все вы, мои бурши:

— Измена, предательство, карал! ..

Только эхо разнесло по лесу эти неистовые крики.

— Ну, теперь, когда состояние дел мы привели в ясность, сочтемся, милостивый государь.

## VIII. ШУТИХА

Положение было самое критическое: бежать некуда, да и невозможно, потому что кроме мнимого барона Тейфельгаупта было еще трое гайдуков, из коих сам Индрик Притц, выкообразный господин, мог один убрать двух-трех Иванов Алексеичей. Ваня сразу понял свое положение: он бросился в передний угол, схватил скамейку и гневно произнес:

— Подходи, кому башка не дорога!

Притц и его бурши только засмеялись на этот отчаянный вызов. Посмеявшись вдоволь, Индрик Притц подо-

<sup>1</sup> О том, что лес в недалеком прошлом подходил вплотную к Альтенау, говорит бывшее название нынешней улицы Пилоту: Межа — Лесная.

шел к нему иронически вежливо и повторил фразу, которую встретил его при входе:

— Рассчитаемся же за Машеньку.

Молодой человек молчал от ярости, что так глупо попался в западню, из которой вырваться не представлялось никакой возможности. Он знал, что пощады не будет, недоумевая только, каким способом сведут с ним расчет. Притц, впрочем, скоро разъяснил, чего он хочет.

— Господин Ваня (в тех редких случаях, когда г. Пятницкий встречался с Индриком Притцем в доме дяди, последний всегда относился к нему с титулом «Ваня»), и Притц думал, что, представив к нему слово «господин», он попадет как раз в такт, т. е. прилично, вежливо, деликатно назовет человека своим именем)... — Господин Ваня, вы не извольте горячиться. Призывая вас к расчету, я вовсе не думал и не думаю круто поступить с вами, хотя вы вполне заслужили, чтобы я именно беспощадно круто поступил с вами, потому что посмотрите, что вы сделали со мною вчера вечером...

И он указал на голову, которая была завязана чем-то белым. На широком лице его так же виднелись рубцы и шрамы, совершенно еще свежие.

— Чего же вы от меня хотите? — спросил г. Ваня, не выходя из своего оборонительного положения.

— Чего? Да сущих пустяков: уступите Машеньку!

— Индрик Притц! Если ты честный человек, то как можешь предлагать мне подобное требование? Да разве Машенька крепостная моя, которую я могу распоряжаться как собственностью движимую? Кого она хочет, того любит, ненавидит, жалеет! А я при чем тут?

— Господин Ваня, но она любит вас. Сделайте так, чтобы она не любила вас, господин Ванчик.

— Индрик Притц! Вы или издеваетесь надо мною или же одурачили!.. Каким образом, если бы я и захотел, — а я этого не хочу! — чтобы Машенька разлюбила меня, когда она меня любит?!

— О, господин Ваня, очень просто, выкиньте какую-нибудь нехорошую штуку — и она не только разлюбит вас, но даже возненавидит. Да вот всего лучше: прочитайте, перепишите, подпишите и пошлите вот это письмо!

И он подал черновое письмо, гласившее так:

«Милостивый государь, высокоуважаемый и того достойный господин Индрик Притц! Простите меня великодушно за то, что вчера по совершенному с моей стороны недоумению и по горячности характера я грубо обошелся с вами в теснине Куммингофского парка. С глубоким раскаянием сознаюсь, что игра не стоила свечки. Известную вам особу, из-за которой впоследствии у нас ссора, я всегда считал назойливейшей кокеткою, которая рада как можно выгоднее для себя повеситься на шею богачу, но никогда не думал, что кокетство ее простирается далее этих пределов, впрочем едва ли и дозволенных порядочной женщине. Но теперь я убедился, что она именно зашла и далеко зашла за эти пределы. Не мое дело судить ее, даже сожалеть о ней: она очень хорошо знает, что делает и как делает. Я сожалею только о том, что произошла между нами ссора из-за такой дамы. Извините и простите меня. Вперед этого не будет! Я не разбойник, не плут, не мошенник, а честный человек, который в надежде на вашу амнистию имеет честь и удовольствие подписаться и быть вашим покорным слугою. Иван Алексеев Пятницкий, коллежский регистратор и друг ваш».

С негодованием читал Иван Алексеевич это письмо, кровь кипела в его жилах, но, понимая всю беспомощность свою, он сдержался и спросил Притца:

— Положим, я подпишу это письмо, но что из этого будет?

— Будет отлично и для вас и для меня! — воскликнул Притц, в уверенности, что Ваня колеблется. — Будет вот что: мы сегодня погуляем... Эй вы, накройте стол, ставьте шампанское!.. А я... я дам надлежащий ход письму, соответственно своим видам, и все устроится отлично.

— Но кто мне свяжет язык? Кто мне запретит сказать ей завтра же, что я невольно подписал и написал гнусное это письмо?

— То есть, что вы — трус?

— Но я... будь что будет!.. — не напишу, не подпишу такого подлого письма. Я как в истинного Бога верю в непорочность Машеньки. Да я буду подлец, если позволю себе набросить хоть малейшую тень на ее честь!..

Призадумался Индрик Притц, выслушав такое категорическое показание.

Не в его расчетах было принимать меры против противника, на эти меры он решился только в крайности. И он переменял тактику.

— Вы, молодой господин Ваня, достойны быть рыцарем и были бы рыцарем, если бы жили 500 лет ранее. Пусть так! Но в нашем деле есть возможность, не компрометируя девушки, примирить наши интересы.

— Каким же это образом?

— Очень просто: уезжайте куда-нибудь подальше из Риги и определитесь на службу. Я вам пособлю на путевые издержки и первоначальное обзаведение, а ваш дядя пособит вам отыскать место... Согласитесь на это... сейчас же запируем!.. Так, что ли?..

Задумался Ваня. Ему представилось, что и в самом деле, если Машенька не может принадлежать ему, то лучше сделать так, чтобы и совсем не видеть, кому и как она будет принадлежать, но мысль, что она достанется Притцу, пьянице, зажгла в нем всю ревность.

— Никогда! — с решимостью отчаяния воскликнул он.

— А в таком случае мы вас... высечем!.. Эй вы, бурши, возьмите-ка его.

Бурши двинулись на Ивана Алексеича — несколько минут он храбро оборонялся при помощи скамейки, но скоро изнемог, руки его бессильно опустились, но вдруг коснулись чего-то твердого в карманах его сюртука. Что это такое? Это были шутихи, остальные шесть шутих, которые он во время известного пари переложил из мешка в карманы сюртука. Мгновенно осенило его вдохновение.

— Остановитесь, я согласен!..

— Вот это разумно! — воскликнул Притц. — Эй вы, отодвиньтесь!.. Ну, на что же вы решаетесь?..

— А вот на что! — отвечал Пятницкий, выхватив из кармана шутиху, зажегши ее на свечке и пуская Притцу прямо в лицо.

Застонал, как раненый вепрь, повалился наземь, как сноп, господин Индрик Притц, изрядно опаленный. — Возьмите его! — кричал он неистово. И один из буршей бросился было на Ваню, но вторая ловко пущенная шутиха уложила и его. Дело быстро изменилось в пользу пленника. Смутилась вся ватага. Тут-то Ваня заметил в одном углу огромный топор. Схватить его, вы-



Бывшая усадьба на острове Фегезакгольм

ломать с его помощью входную дверь было делом одной минуты.

Но и враги его не дремали. Они погнались за ним вчетвером и пустили в ход против него обыкновенно употребляемую карманщиками штуку: они бросили вслед за ним под ноги по палке. Иван Алексеич споткнулся и упал. Не успел он встать на ноги, как враги окружили его, схватили и повели обратно.

— Помогите, спасите, душат! Караул! — кричал в отчаянии Иван Алексеич, зная, что некому услышать его, потому что кругом стояли только сосны, тихо шумевшие, будто шептавшие: жаль, жаль тебя, Ваничка, а делать нечего!..

Вдруг не дальше как в каких-нибудь шагах пятидесяти, два альта, звонкие как колокольчики, запели-запели известную коперную песню: «Ой, дубинушка, охни, ой, зеленая, сама пой-дешь!». Тогда, когда они ловко, чисто отчеканили это, другой голос, подражая ударам сорокапудовой бабы, начал отчеканивать раз за разом: «ух, ух, ух!»

Это уханье чему бы уподобить? Если правда, что лешие любят прикрывать и припугивать запоздалых путников, то не иначе, как таким басом. Но приятнее музыки небесной показав-

лись они Ивану Алексеичу. Он отчаянно закричал:

— Дядя Ерема, выручи Христа ради!

— А какой там леший зовет меня? — рявкнул бас.

— Это я, Иван Пятницкий! Выручи, дядя, меня бьют!

— А, это вы, Иван Алексеич. Сию минутку, голубчик!..

И слышно стало, как кто-то, пыхтя и неистово бранясь, бежал на место происшествия.

Руки державших Ивана Алексеича дрогнули, чем он и воспользовался. Вырвался, сбил переднего с ног и помчался навстречу неизвестному нам, но, видно, хорошему своему знакомому, дядя Ерема. Скоро обе стороны столкнулись и остановились.

На одной стороне стоял великан Притц с завязанною рожею, а рядом трое его дюжих буршей. Против них стоял кто-то приземистый, с сажеными плечами, весь заросший бородой, так что только нос был виден на всем лице. Рядом с ним Иван Алексеич, а сзади, составляя как бы арьергард, двое юрких мальчуганов. На последних, конечно, плохая была надежда, но зато дядя Ерема стоял, прицелившись двустволкою, а Иван Алексеич вооружился дядиной дубинкой, которой назначение коротко было известно противникам. Дубина эта была громадная, суковатая, можжевеловая. Ее обвивала тонкая, но крепкая и длинная бечевка, к верхнему концу которой привязана была изрядная свинчатка в виде головки. Стоило только распустить бечеву, вынуть головку и начать ее вертеть вокруг себя, чтобы удалить всякого карманщика на почтительную дистанцию. «На что тебе такая палка?» — спрашивали дядю Ерему знакомые. «На собачек, братик, на собачек! Ведь вишь их, проклятых, сколько здесь поразвелось! Проходу нет доброму человеку, особенно в полночь, в чужую подклеть!..»

— Ну, дядя Притц! — насмешливо зыкнул Ерема. — Похристосуемся, что ли? Вместо красного яичка подкрашу твой нос!..

— Слушай, дядя Ерема, какое тебе дело мешаться в наши расчеты с г. Пятницким? Оставь нас. Я тебя не затрагивал, ни в чем тебе не мешал. За-

чем же тебе трогать меня? Иди себе своей дорогой. Если хочешь выпить, закусить, то вот тебе деньги.

— Ах ты, архибестия! — азартно крикнул дядя Ерема. — Да нешто я Иуда? Убирайся, пока цел!..

Индрик понял, что ничего тут поделывать нельзя. И он удалился, изрыгая проклятия, угрозы.

— Иван Алексеич! Как вы сюда попали? — расспрашивал дорогой Ерема.

Он рассказал ему все подробно. Дядя Ерема не прерывал его, а только произносил многозначительно «Гм». Когда же рассказ был окончен, дядя Ерема круто остановил его, спросив:

— А 10 целковых бумажку где вы подели?..

— Ах, я и забыл бросить им проклятые деньги!

— И не могли этого думать! Чем деньги проклятые?! Нет, они царские, хороши! Да вы же их и выиграли. Возьмем хорошую выпивку и закуску, заберем все это с собою и отправимся на Фезик (полуостров Феgezакгольм<sup>1</sup>, известный в просторечии под именем Фезика) рыбу ловить. Вы свободны?

— Да, — горестно поникнув головою, отвечал Иван Алексеич. — Дома мне делать нечего!!!

— Ну и добро. Признаться, туда и шел. Червей и удочек всяких достаточно.

— А как ты, дядя Ерема, сюда-то забрался?

— Да просто захотелось поглядеть на огненные потехи, а спешить было некуда, ведь рыба берется поутру. Так и решился, чем спать мне на бревнах, лучше людей повидать и себя показать. А теперь как раз кстати и поспеем на ловлю.

Сказано — сделано. Через час они сидели над удочками, а выпивка и закуска стояли около них.

Продолжение следует

<sup>1</sup> Со временем названный (по принципу народной этимологии) Вейзакюсала (букв.: Ветреный заячий остров). Ранее на острове находилось имение; ныне он целиком вошел в массив порта.

## УДИЛЬЩИК НА ДВИНЕ

### IX. ДЯДЯ ЕРЕМА

В дальнейшем нашем рассказе нам нередко придется встречаться с личностью дяди Еремы, поэтому всего лучше теперь же определить, что это за личность. Кто был дядя Ерема, сказать до того трудно, что даже сомнительно, Еремой, т. е. Еремеем ли, его звали, имя это собственное или же прозвище. Между нашими удильщиками и «дергачами» усваиваются разные прозвища некоторым, более выдающимся личностям. Иногда одно имя заменяет все. Так и ныне вам скорее укажут искомого вами удильщика-дергача, если вы спросите его не по отчеству и фамилии, а просто по имени — Семен, Николай, Петрушка и т. п.

Таким-то дядей Еремой и был наш новый знакомец в кругу знавших его. Точно так же нельзя было бы определить лет его, потому что Бог знает, где он родился, в Риге ли, в Витебске ли, в Краславке ли, а наружный вид много-много лет оставался без перемен. Когда многие с удивлением замечали ему это, он шутя объяснял: «Эх, братики мои, да когда же мне стариться? Ведь хрычовка старость всякий раз как ни толкнется ко мне, — не находит меня дома, потому что я всегда на рыбе. Она плюнет да и уйдет!» Можно было дать ему 30, 40, даже 50 лет, смотря по тому, в какой он облакался костюм. Одно было достоверно, что он принадлежал к староверству, хотя староверство его было весьма сомнительного

качества, скорее смахивало на индифферентизм или только привычку, основанную не на убеждении, — потому что в деле веры он был дитя, безгласное дитя, — а на фразе: «В какой вере родился, такой и должен держаться, а Бог у нас один!» Только эта фраза, а не предания протопопы Аввакума, Федосея, Соловецкой челобитной и другие подобные краугольные камни раскола, удерживала его в недрах его. Само собой разумеется, что он строго держался внешней формы своей веры: крестился двоеперстием, до того строго содержал посты, что скорее бы с голоду умер, чем оскормился в пост, стригся известным образом, крест носил медный, осьмиконечный и аккуратно раз шесть в год бывал в моленной. Но этим почти и ограничивалось его староверчество. Никакой неприязни он не чувствовал к никонианцу, аккуратно отवेशивал три поясных поклона иконам, даже в церковь захаживал помолиться и поминанье подавал. От участия в закуске у кого угодно не только не отказывался, но даже с удовольствием напрашивался, табачок любил не хуже никонианца, за что и крепко же ему доставалось от «батьки» часовенного. Характера он был самого добродушного, никогда и никого не задевал даже крутым словом, всегда был готов помочь: удочка ли у кого портилась, червяков ли, крючков ли у кого недостало, сейчас дядя Ерема выручит. Но горе тому, кто оскорблял его сотоварища. Несправедливости он не выносил: при виде ее готов был, даже рискуя быть преступником, впятеро отплатить обидчику, что мы отчасти уже и видели в деле его

---

Продолжение. Нач. см. «Даугава», № 2 и 3.

с Притцем. Он непременно выстрелил бы в него, если бы тот благо- разумно не отретировался с своими сообщниками, а выстрелив, непременно убил бы двоих из обоих ство- лов, потому что в стрельбе он почти не знал промаха. Убил бы двоих, а с прочими управился бы даже без помощи г. Пятницкого, потому что си- лищи он был непомерной. Он даже сильнее Притца был, и Притц знал это очень хорошо, потому что они не раз каждой зимой встречались в корчме за мостом Пильхаусским, где часто находился Притц, выжидая мужичков с товарами, и куда дядя Ерема нередко заходил погреться, прохоя на Белое озеро, на Сереб- рянку, на Черное<sup>1</sup> и другие для бли- тневания или возвращаясь оттуда. Раз полупьяный Притц позволил себе разгуляться, распотешиться над не- уклюжей наружностью дяди Еремы. Он сделал ему предложение:

— А что, брат, как тебя звать? Верно Иван, потому что у русских больше половины все Иваны: распо- тешь публику, стань на карачки и по- пляши по-медвежьи. Тебе и наря- жаться ненадобно!

— Что ж, дяденька, я согласен, — скромно отвечал Ерема. — А какое у нас будет условие?

— Какое? Штоф водки и закуска, а пива сколько захочешь!

— Это ладно, это очень хорошо. Но ты поставь меня на карачки!

— Идет!

— А ежели не поставишь, дядень- ка, то что же будет тогда?

— Целковый прибавлю!

— А ежели, паче чаяния, я тебя поставлю, что тогда?

Громкий хохот Притца и всей его компании был ответом на этот вопрос, сделанный тоном умирающего Лаза- ря. Когда смех поутишился, Притц, коварно усмехаясь, отвечал:

— Тогда, Иван, ты получишь пять целковых.

— И ты, дяденька, пройдешь ра- зика три на карачках?

— Что делать, пройду!

— Честное слово? И вы свидетели?

— Честное слово! . . Да, да! — от- вечали ему хором.

Тогда Ерема трижды перекрестил- ся двуперстием и сказал Притцу:

— Ну, дяденька, бери! Ну, роди- менский, начинай!

<sup>1</sup> Ныне Судрабуээрс и Мелнээрс.

Индрик смело приступил и могу- чими руками обхватил Ерему, чтобы сразу поднять его и поставить в над- лежащее положение. Но не тут-то было. Скорее каменный утес можно было своротить, чем его. Тут Притц первый раз понял, что сошелся с до- стойным противником, даже почув- ствовал что-то вроде страха за свое пари и рад был отказаться, но со- вестно было осрамиться перед чест- ной компанией на весь свой век. И он продолжал усилия повалить Ерему. Наконец, пробившись немало, а ни- чего не добившись, он оставил его.

— Экий ты леший! С тобой ничего не поделаешь! Пей, довольно!

— Нет, я крещеный человек, а не леший, дяденька! Только видишь ли, кормилец, оттого маловат ростом, что на пол-аршина росту-то моего в земле! Видишь, оттого и руки-то у меня пониже колен! . . Ну, а насчет водки, так уж . . . того . . . повремени маленько. Поборемся-таки еще!

— Спасибо, я отказываюсь!

— И умно, дяденька, что взять тебе с меня? Однако теперь моя череда. Стань, дяденька, позволь и мне пока- чать тебя, как мы и сдоговорились! . .

Не хотелось Притцу этого, крайне не хотелось, но стыда ради стал в по- зицию, и тут-то началась страшная борьба. Долго дядя Ерема не мог сло- мить исполина, хотя он и хралел в же- лезных, длинных ручищах Еремы. С самого Еремы пот градом катился. Наконец исполни рухнул.

— Довольно, ты победил! — хри- пылым голосом кричал под ним Индрик Притц.

— Сейчас, дяденька, сейчас слезу, только с условием: пройдешь по- медвежью.

— Ах ты, свинья, да ни за что на свете!

— Грех, дяденька, браниться. А слезть ей-ей не могу: договор надо исполнять.

Долго ругался и умасливал Ерему Индрик, но он не сдавался, отговари- ваясь, что зависть есть Каинов грех и что ему довольно и тех пяти рублей, какие следуют по договору.

Кончилось тем, что Индрик-таки промаршировал медведем, потому что он, может быть, и не уступил бы Ереме, но сторону Еремы поддержа- ли и корчмарь, и сотоварищи Индри- ка, втайне тяготившиеся его авторите- том. Они рады были, что коса нашла

на камень и что посбита будет спесь с их премьеры. С тех пор прочно установилась слава дяди Еремы. С тех пор Индрик, встречаясь с ним в известной корчме, не только не задевал его, но угощал, хотя в душе смертельно ненавидел, как и Ерема его.

Еще одной отличительной чертой дяди Еремы была честность. Только она вовсе не так у удильщиков понимается и объясняется, как в катехизисе. Дядя Ерема и руками и ногами стал бы отмахиваться, если бы Московского форштадта карманщик пригласил его в сотрудники (это не раз ему и предлагалось на самых выгодных условиях ввиду его силы и невозмутимости характера, что особенно дорого при допросах). Он преступлением бы счел обмануть кого-нибудь, утаить что-нибудь, стянуть что плохо у соседа лежит, удочку поддеть у товарища, рыбой его, червями, блитками и чем бы то ни было поживиться. Ему смело можно было поручить хоть 100 рублей деньгами, смело можно было поручить квартиру в свое отсутствие. Но этим и кончалась его честность.

По его понятиям, не считалось за грех дров натаскать с плотов около Верманской лесопилы, у Фезика и где попало, особенно на Красной Двине; дрова из этого нерощеного лесу запасались не только на зиму, но и отчасти на продажу. Долгов решительно никогда не платил, хотя в долгах не запырался. За грех считал при благоприятном случае не выпить изрядно на чужой счет. Преступлением бысчел выдать полиции вора, мошенника, особенно из среды удильщиков-дергачей. «Какое мне до них дело? — говаривал он. — Они полиция, пусть и ловят кого знают, за то и жалование получают. Сам воровать не пойду, да и ловить воров не намерен!» Совершенной добродетелью ставил браконьерство. По местным законам на право охоты в лесах и на водах надобно иметь гражданство г. Риги или звание помещика и приобрести билет, недешево оплачиваемый. Дядя Ерема и знать этого не хотел. Птица ведь Божья, зверь тоже человечеству дан и никем не выращен, а сам вырос. Какой же тут билет надобен? кто его хозяин? — говаривал он. Страшно возмущался преследованиями лесников. Для браконьерства, всегда почти удачного, потому что отлично высле-

живал дичь, отлично стрелял, отлично отделялся от лесников, он имел отличную двустволку, довольно дешево приобретенную на Мюльграбене путем контрабанды, которую тоже и не думал считать противозаконною. С этой двустволкой, как равно со своей знаменитой дубинкой, он не расставался никогда. Двустволка за плечами, дубинка в руках, сумка с удильными препаратами, червями, порохом и дробью с одного боку, мешок с котелком и съестными припасами с другого были всегда при нем, шел ли он в лес или на реку, потому что он сам не знал, чем придется действовать: удочкой или ружьем, и желал быть готовым и на то, и на другое. Насчет браконьерства он даже и временем не стеснялся, лишь бы птица глупая попадалась и свидетелей не было.

Где он жил? чем жил?

Жил бог его знает где. Летом едва ли он даже имел квартиру, потому что безвыходно находился в лодке. К этому он отлично и приспособил свою лодку: широкая корма была выслана дерном, так как у него она исполняла обязанности кухни. Там в подобающее время разводился огонь, ставился таган, котелок и варилась жирная свежая уха, какую, может быть, кушают только гастрономы, или жарилась утка, дичь, смотря по тому, что Бог послал. На днище лодки был соломенный с чем-то вроде подушки, а на случай дождя имелся складной холщовый навес в виде треугольника, правда мало доставлявший защиты своему владельцу, но дядя Ерема не очень-то боялся дождя и холоду. Если же круто слишком приходилось под такой крышей, то искал пристанища где-нибудь на берегу, у знакомого сторожа в будке, под стогом, навесом сеного сарая, какие встречаются здесь во многих местах на лугах. Все дни, все ночи он так проводил. В город являлся только затем, чтобы червей набрать, добычу продать, припасов купить или вследствие какой-нибудь экстренной надобности. Только зимой имел постоянную конурку по 50 к. в месяц.

А жил он тем, что Бог посылал: рыбкой, дичью. И не думайте, что средства эти скудные. Нет, дядя Ерема, по его словам, мог бы в шелках, бархатах ходить, по-губернаторски есть в три блюда, если бы не один прокля-



тый козел! Когда спрашивали его, что это за козел, он, фыркнувши в нос, отвечал: «Не знаешь, какой козел?! Известно, черный, тот, что выдумал водку и Ноя спойл!» Много в кабацкий мешок перевалилось трудовых Ереминых денег из-за этого грешка. Случалось, что иногда он добывал по несколько рублей в день, а в неделю десятки рублей, и таких недель и зимой и летом было немало. Но что добывалось, то и спускалось тотчас же. В дни хорошей добычи у него был светлый праздник не только для себя, но и для всякого встречного-поперечного. Пей, ешь, угощайся — и проваливай! А не то запасайся питейным один — и на лодке гуляет и рыбу таскает, сиречь два удовольствия получает. В эти дни он отнюдь не позволял себе заниматься браконьерством, потому что, как сам объяснял, и руки танцуют, и глаза в жмурки играют, и ноги как-то не на месте, а лесий-лесник сбоку так и вертится. Вследствие такой безалаберной жизни у него бывало всего вдруг густо, а потом пусто. Случались такие дни, когда ни дичи не попадалось, ни рыбы не было: тогда дядя Ерема садился, если не подвертывался какой-нибудь добрый приятель-хлебосол, на пищу св. Антония. Само собою разумеется, что и облачение дяди Еремы не могло быть чересчур изящным, а зимою теплым. Малахай после дедушки Ермилы, зипун невыразимого покроя, какие-нибудь опорки, зимой завернутые в хлопки, в тряпье, панталоны из манчестерской материи, известной в простом народе под именем чертовой кожи, белье из грубого холста — вот обыкновенный костюм дяди Еремы. Говорим: обыкновенный, потому что бывал и не обыкновенный, так сказать экстренный, случайный, когда случались удачные дни, даже недели, т. е. когда он успевал зашибить десятка два-три рублей — и тогда-то он принимал вид 30-летнего солидного мужчины. Костюм этот потом уже и в праздник и в будень, и дома и на ловле так и носился, пока на клочки не распадался. Удочки, им сплетенные, пользовались такою знаменитостью, что охотню платили ему, и то пользуясь его безвыходным положением, копеек по 30—40 за штуку. С одной двустовкой он никогда не расставался, а лодку берег пуще глаз,

пуще вице-жены. Ту он лупил без милосердия, можно сказать, только до ней он был строг, и строг не потому, что был придирчив, ревнив — насколько! — а потому, что пристала, по его словам, к нему, как банный лист, и не идет, окаянная, прочь, чтобы ей издохнуть! а и уйдет, то опять воротится, так что хоть топись! Такая бесстыжая, что и сказать нельзя! ..

Самая лодка благоприобретенная была мерами не катехического свойства.

Дешевое приобретение челноков случается так: нагружают челнок камнями до того, что он тонет. Само собой разумеется, что это может происходить не иначе, как с согласия караульщика и большей частью с барок. Пригоняемых из Поречья, из Белого. Благоприобретатель, положим, сговорится взять два целковых за челнок, стоящий 5—10 рублей. Отчего ему не согласиться? Ведь если он сохранит лодку, прибыли ему не будет ни на грош. А не сохранится, разве он виноват? Виновата буря! Потому что именно в бурные ночи и совершается эта нагрузка. И разве хозяину значит что-нибудь потерять душегубку? Лодка, затонувшая в воде, на замеченном месте, лодка, о которой хозяину докладывают, что унесена бурей, благополучно вытаскивается при первом случае из воды и переделяется так, что и узнать нельзя. Да и кто будет ее искать в этом лабиринте заливов, проливов, протоков, озер, каналов, островов, тростников, болот, который заключается на пространстве между Ригию и устьями Двины? Это все равно, что иголку искать в стogu сена.

Таков-то был дядя Ерема! Не наша вина, если он людям салонным покажется особою непривлекательною, — мы списываем с натуры.

Однако удильщики и дергачи смотрели на дядю Ерему не только без брезгливости, но даже с любовью и уважением, конечно выраженными своеобразно. В нем все заискивали надежного товарища, хотя и не без некоторых грешков. И он ни разу не обманул надежды заискивавших. Если он кому сказал: будем товарищами, то и был товарищем, а говорил он это не всем.

К числу заискивающих принадлежал и Иван Алексеич. Он сразу приобрел



**Гагенсбургский (ныне Агенскальский) залив с пароходами. Фото начала века**

рел расположение дяди Еремы тем, что, отрекомендовавшись первый раз на льду вашим благородием, дяде первому подал руку и угостил доброй чаркой иерихонского (так называл простейший или очищенное). Впоследствии дружба еще более укрепилась тем, что они оказывали друг другу взаимные услуги: дядя руководил ужением, а этот угощал его, помогал ему в час лютой нужды. Но до фамильярности дядя не позволял себе доходить. Ты, дядя Ерема; вы, Иван Алексеич — стали безмолвно, однажды навсегда установленными терминами в сношениях их между собою. И наконец вот почему дядя Ерема так горячо принял к сердцу дело племянша в деле Индрика Притца и почему Притц так легко уступил дяде Ереме.

Теперь последуем за ними на Двину, на Фезик, куда они скоро прибыли, потому что дядя привел племянша с двумя ребятами, примкнувшими к нему вроде адъютантов, прямой дорогой к своей лодке, ожидавшей их на берегу напротив Троицкой за-двинской церкви<sup>1</sup>.

**Х. ПАН ЛЕЩИНСКИЙ**

**И БАРОН**

**ФОН-ДЕР УГОРЬ-УГОРСКИЙ**

— А сегодня мы на пана Лещинского ополчимся и, уверен, отли-

чимся! — шепотом сказал дядя Ерема, осторожно, т. е. почти без шума, усаживаясь против ровика, образовавшегося между тафлями балок, на Фезике, т. е. Фегезакольме. Таких ровиков там бесчисленное множество, потому что плоты буквально покрывают весь, довольно значительный и приглубый, пролив, начинающийся почти с Екатериндамбы<sup>1</sup> и продолжающийся версты на две к лесопильне Армштедта, а шириной шагов 200—300 и более от берегов острова вплоть до песчаной косы на рукаве Двины, направляющемся вправо от реки к устью Красной Двины, потом круто заворачивающем к Мюльграбену, где и соединяется с Мюльграбенским проливом из Киш-озера. Несколько рукавов этого главного рукава, как бы соскучась, что оставили матерное ложе Двины, отделяются от своего принципала и, взявши налево, опять возвращаются в прежнее ложе, образуя несколько островов, богатых сеном и множеством диких уток. А один остров даже обитаем, называется он Канатным, потому что там и был тогда небольшой канатный завод, а лежит он как раз на берегу Двины, насупротив Фезика и Екатериндамбы. Под этими плотами водится много рыбы, и рыбы хорошей. Много водится ее так же и около островов, где только найдет она приглубое место, особенно изобилующее

<sup>1</sup> То есть в том заливе, где ныне зимуют речные пароходики.

<sup>1</sup> Ныне Катриндамбис.

тростником, а всего лучше тальником, корни которого спускаются в воду. Особенно много рыбы у берегов Канатного острова, потому что и тут становятся во множестве плоты, пригоняемые из лесопилки и для продажи на корабли. Впрочем, в нынешнее время самого широкого лесостреления при всех берегах двинских островов стоят плоты и под ними водится рыба, в большем или меньшем количестве, крупная или мелкая, смотря по глубине воды под навесом плотов. Но самое лучшее место в летнее время для крупной рыбы есть Фезик, потому что воды, оплывающие Фезик, почти везде равномерно глубоки, от 2 до 3 и более сажен на середине, и плоты покрывают все пространство их с ранней весны до поздней осени, тогда как в прочих местах плоты беспрестанно передвигаются, т. е. приводятся и отводятся, причем тревожится рыба, и самые воды неравномерно глубоки, так что рядом с омутом находится отмель, что препятствует свободному движению крупной рыбы. Наконец, в открытые берега островов бьет сильная волна, которая, пугая рыбу, мутит воду, т. е. портит ее стихию и заставляет удаляться ее в глубину, куда волны не достигают. Между тем как на Фезике она находит всегда тихое пристанище от всех ветров и бурь, потому что сверху имеется прочный навес из плотов, а от волн ограждена со всех сторон песчаными молами или берегами. Это, так сказать, цитадель ее. Как, однако, там ни много ее летом, надобно быть очень искусным удильщиком, чтобы ловить ее. Неискусные в целый день не изловят ни одной рыбки, ни большой, ни даже малой. Последней, впрочем, там очень немного, потому что не только человеческий род, но и рыба безусловно следует неизменному, коренному правилу, что сильный вытесняет слабого. Значит, кто не умеет поймать на удочку водяного туза, тот не поймает там и двойки, разве когда-нибудь клонет ерш с девичий мизинчик величиною и какая-нибудь шальная быстеренка величиной с ручонку ребенка.

Кроме общих причин физиологических, объясняющих присутствие рыбы на Фезике, можно указать, так сказать, на нравственную. Именно рыба, особенно крупная, взрослая,

имеет замечательную смывленность, особенно в деле самосохранения. Рыба несомненно поняла, что проживать в водах Фезика всего безопаснее. Там ее невозможно ловить не только неводом, но даже в иных местах простою, неподвижною сеткою, потому что все дно залива засорено, усеяно ломом, щепами, колыями, связками с плотов, даже балками, так что всякая рыболовная снасть непременно разорвется, если пустить ее там. Почему здешние рыболовы ловят сетями в других местах. Только зимой можно им ловить мелкую рыбу у берегов, ставить кое-где сети, да весной, когда окуни и другая рыба мечет икру и для этого стремится к берегам, не рассуждая об опасности, у всех берегов Фезика сплошным рядом становятся верши, сетки. Тут же рыба находит себе и обильный провиантский магазин. Гниющие элементы засорения — это ее любимое жаркое, даже с салатом из разных слизистых червей и насекомых в гнилье.

— Да, отличимся, — повторил Ерема.

— Из чего ты это, дядя, заключаешь? Погода-то серенькая.

— А вот почему мы будем с рыбою: время еще не позднее, солнце не взошло. А и взойдет, то туман не скоро разойдется. Значит, пан Лещинский, если только не обзавелся очками, не будет хорошо видеть удочки, точно так же и барон.

Дядя говорил правду. Пасмурные, влажные дни при тихой погоде исключительные дни, когда рыба быстро берет целый день именно по той причине, на которую указал дядя Ерема. Иван Алексеич, хоть и часто шмыгал на Двину с удочкою, но до тонкостей уженья еще далеко не дошел.

— Еще и потому я уверен, что будем с рыбою, что немногие спроведали, что Лещинский с фамилией здесь поселились. Балки еще не так давно здесь прочно установлены, и наша братья думает, что Лещинский не подошел сюда, а я еще третьего дня подметил, что он, сударик, здесь. Утром по местам так хлопается между балками, что ужас. Да вот, посмотрите!

Действительно, в это время в нескольких местах раздались сильные

всплески на поверхности воды. Это лещи, так сказать, разминали кости, поднявшись с ложа своего. Лещ это нередко делает и этим самым выдает артисту-рыбаку место своего пребывания.

— Вот видите, — продолжал дядя, — еще непуганый, будет напропалую брать все утро, только не надо шуметь, сидеть следует как можно тише.

— Дядя, не пойдем ли мы удить туда, где хлопались они?

— Наловим не сходя с места, потому что под нами ее побольше, чем там. А что она не хлопается здесь, то значит, что незачем подниматься за козявками. Здесь ей есть чего жрать и без того. Знаете, что я ей подпускаю уже сряду три дня?

— Почему мне знать?

— Я подпустил ей по крайней мере воз корму с барок и целый чугунок варена. Вот он к этому корму и сидит присоединившись, а мы его тут и поддеваем.

— Дядя, да он совсем не будет брать приманки, если он сыт.

— А спрошу я у вас, барин, щи или суп вы кушаете?

— Что за вопрос? Разумеется, ем.

— И досыта кушаете?

— Что ж из этого?

— Ничего! А только когда подадут жаркое, вы не отказываетесь и от него? Так ведьайте, что мой опущенный корм есть суп или щи для пана, а удочкой поподчую, так он покушает еще слаще жаркова, даже пирожного.

— А какая у нас будет насадка? — спросил Ваня.

— На верхнем крючке по три красных червя, впережку с белыми, а на нижнем все белые.

— Отчего это так?

— А вот видите, барин. Лещ берет только на красных червей, насаженных кучкой, словно букетом, вместе с белыми. Рот у него большой, он проглотит целую горсть червей. Но тут же есть паршивенький ерш, который берет только на красных червей, а белых не любит. Надобно во что бы то стало прогнать его, потому что он стал бы беспрестанно щипать приманку и сбивал бы с толку рыбака. А протурить его немудрено: он бродит по дну и хватает только за нижний крючок. Ну и следует его подчивать тем, чего любит, т. е. на-

садить белых червей. Он будет шнырять тут, а морду отворотит. Лещ же велик ростом, ему неловко доставать приманку с нижнего крючка. Но начнем — Господи благослови! — ставить удочки. Сидитесь рядом со мною и, главное, не горячитесь, а лучше всего, как подсечете, не тащите сами, а дайте мне. И не вытаскивайте леща на удочке, даже маленький лещ оборвет ее. Надобно подхватывать его сеткою.

Дядя был прав: ловля удалась превосходно, плодом ее было несколько десятков лещей и подлещиков и несколько угрей солидных размеров. Лов был бы несравненно обильнейший, но Ваня горячился, спустил несколько лещей, оборвал несколько удочек, чем очень сердил дядю, и справедливо, потому что не беда, если не клюет рыба, но очень худо, если она срывается, особенно с лесом во рту, потому что она как бешеная бросается в сторону и вся рыба за ней, увлекаемая или ее испугом или какими-нибудь знаками, которые она подает, что здесь ей опасно. Рыба скоро ободрается, не примечая этой опасности, но все-таки происходят промежутки времени, более или менее продолжительные, смотря по тому, как много рыбы и как она напугана прежде. Между прочим, попались два таких леща, с которыми едва справился сам дядя, фунтов на 10, даже более. Таких лещей теперь нет в нашей Двине, опустошенной всеми видами рыболовства, но тогда они были не редкость даже в Красной Двине, о чем, впрочем, не раз будем говорить впоследствии.

— А что мы подделаем с рыбой? — спросил Ваня, когда дядя часов около 12 стал свертывать удочки, потому что клев прекратился.

— Мы вот что сделаем, барин: часть ее продадим на лесопилке, там дадут хорошую цену... На деньги погуляем. А получше отнесите дядюшке вашему, примерно вот этих лещей и угрей. Любит он угрей?

— Еще и как! Лишь бы даровые были. Но за что же ему?

— Вот видите, это вам будет самый лучший случай похлопотать опять о вашем деле с Марьей Гавриловной.

— Ты, дядя, прав. Я так и сделаю.

Окончание следует

## УДИЛЬЩИК НА ДВИНЕ

Теперь, когда мы знакомы со всеми действующими лицами старинного «романа с продолжением», надобно признаться: эти лица, их характер и поведение уже не изменятся до конца повествования. И потому представляется возможным бегло перелистать несколько последующих главков. Итак, вкратце: богатый дядюшка, несмотря на рыбное подношение, жениться Ванчике не советует и никаких денег не обещает; напротив, сам он не прочь вступить в брак со своей ключницей. Коварный Притц с завидной энергией устраивает избранной им жертве и своему сопернику одну ловушку за другой. Между тем дядя Ерема уговаривает расстроенного молодого человека развеяться и заодно испытать свои чувства разлукой, для чего они и решают «в течение 10 и даже более дней объехать излюбленные места, которые постоянно посещают удильщики на Двине». Добираются приятели и до Гавы (Гауи), возвращаются и ловят рыбу у дамбы в устье Двины (следует подробный рассказ об этой дамбе); попадают в страшную грозу, даже и смерч пришлось им увидеть едва ли не вплотную, — «редкое явление в нашей местности», — замечает по этому поводу автор.

А г. Притц времени не теряет. Не без его наговоров скаредный дядюшка окончательно отказывает молодому человеку в деньгах, хуже того: исполняет свою угрозу жениться на немке-ключнице и с нею вместе уезжает неизвестно куда, определив племяннику крайне скудное содержание да еще оставив в подарок, точно в насмешку, набор куда негодных английских удочек.

Но еще прежде того хитрый г. Притц сумел вовлечь простодушную опекушну Машеньку в непосильные расходы. Ожидая скорой свадьбы Маши с г. Пятницким и понадеявшись на деньги его дядюшки-генерала, Матрена Прохоровна набрала всякого добра на приданое, в долг, заложив для того последнее имущество — свой дом. Подстрекал ее к тому тот же Индрик Притц; он же и сговорился с ростовщиком и выкупил вексель Матрены Прохоровны. И тотчас по отъезде Ваниного дядюшки мясник был в ее доме: или отдайте за меня Машеньку — или же вы разорены.

Скрепя сердце согласилась старушка с неизбежным. Машенька в свою очередь была обманута Притцем: он напел ей что-то об измене г. Пятницкого, будто бы забывшего ее давно с другой девицей. Неудивительно, что Ваню, явившегося к Машеньке после долгого отсутствия, с негодованием прогнали. Добавим еще, что Индрик Притц подослал к Ивану, с горя возвратившемуся к дяде Ереме и прерванной рыбалке, своего шпиона — чтобы уж наверняка знать, что юноша не вмешается и не испортит под конец так хитроумно измышленный план. Но разгадавший его уловку Иван Алексееч ухитряется уйти от слежки и однажды ночью оказывается у дома своей возлюбленной.

С величайшею осторожностью подошел он к своему Эдему, где оста-

валась заключенною его Ева; потому что если не было пламенного оружия во вратах его, то мог встретить стое-

росовку дворника. Однако злой рок его заснул, аргуса — верзилы дворника не оказалось на месте, но зато слышен был самый доброкачественный храп его на дворе. Ваня робко подошел к окошку своей возлюбленной и, о радость! — увидел, что ставни приотворены и сквозь них пробивается свет. Не успел он еще утишить тяжело дышащую грудь и размыслить, что далее делать, как поступить, чтобы дать своей царь-девице почувствовать, что он, ее Иван-царевич, здесь, как сама царь-девица открыла окно, сложила белые рученьки на подоконник и со слезами поникла головкой. Видно, бедной не спалось при мысли, что не далее, как через двое суток придется ей коротать подобную ноченьку с глазу на глаз с человеком, в сравнении с которым и лютый зверь и темная могила не Бог знает что. Вдруг она почувствовала обе свои ручки в чьих-то руках и что кто-то, величая ее нежнейшими, сладчайшими именами, жарко целует их, обливая горячими слезами. Все тут было забыто: злость, приличие, долг, страх... Маша догадалась, кто это.

— О! Ваня, ты ли это? — произнесла Машенька.

— Радость моя, ненаглядная, я... я, твой Ваня, но... но ради Бога, говори тише... нельзя ли тебе выйти, чтобы не услышала бабушка... Об одном прошу, выслушай... За что ты отогнала от себя, как какую-нибудь собаку, верного, нелicenseмерного друга своего?

— Верного, нелicenseмерного друга?!... Чтобы не слышала бабушка?! — строго, но тихо произнесла Машенька, вырывая со всею силою ручки свои из рук своего обожателя. — Верность ваша и нелicenseмерность таковы, что лучше промолчать о них. Но мне не для чего выходить к вам: я уже невеста другого, но и не потому еще, а вот почему: вам нечего сказать мне... Вы человек молодой, увлекающийся. И это моя вина, а не ваша... Впрочем, если вы имеете что-нибудь сказать, говорите смело, бабушка ничего не может слышать: она очень больна.

Действительно, Матрена Прохорова была слишком нездорова. Не физический недуг сломил ее крепкую натуру, а нравственный. Сто лет

прожила бы она, если бы не происшествие последнего месяца. Она теперь увидела, что ее райский цветочек, Маша, которую она пестовала и выпестовала в царь-девицу, из ее теплицы так-таки прямо и пересажен на суровую редечную гряду огорода Притца. Если она и уступила Притцу, то уступила невольно, в справедливом предположении, что может последовать еще нечто худшее. Но скоро она убедилась чутьем женского сердца, что Машенька никогда, ни во веки веков с Притцем не может быть едино, как церковь Божия повелевает. Пуще всего мучила Прохоровну мысль, из-за чего же погибла Машенька и оказывается брошеною ее, Прохоровны, совесть?... Из-за какой-нибудь тысячи рублей?... О! сколько таких тысяч брошено ими на ветер во время их благоденствия! Эта тысяча, за которую держал их Притц, словно ловкий удильщик девятифунтового леца на трехлопной удочке, не позволяла ему ни сорваться с нее, ни оторвать. Она серьезно заболела еще с первого удара, как Притц уверил ее в том, что Ваня есть не что иное, как нищий и, сверх того, негодяй. Чем дальше, тем сильнее развивалась ее болезнь. После сговора Маши она уже ни одной ночи не спала. Лекарства, прописанные ей, не приносили ни малейшей пользы — и теперь ей дали сильный прием морфия, чтобы доставить несколько часов крепительного сна, чем и воспользовалась Машенька, безотлучно по ночам присутствовавшая при постели ее, чтобы хоть несколько освежить свою надорванную грудь живительным действием летней ночи. И тут-то неожиданно-негаданно встретила того, о ком надрывалась ее грудь.

— Говорите, я вас слушаю, но говорите скорее: нас могут увидеть...

— Мне и самому время дорого: часа в четыре, много в пять, я должен быть на Дунь-озере, чтобы не подать повода шпиону Притца забить тревогу. Я сию минуту оттуда. Я, кажется, на крыльях ветра летел сюда, не помню, как мелькнули мимо меня эти двадцать восемь верст. Цель моей такой поспешности одна: сказать вам, что я ни в чем против вас не провинился.

— Может ли это быть, Ваня? — уныло произнесла Машенька, снова

с доверчивостью наклоняя к нему свою головку.

— Да, дорогая моя, ненаглядная!

И он быстро рассказал ей, изо дня в день, где он был, что делал и причины, почему он поступил так. Она слушала его безмолвно, едва переводя дыхание, и потихоньку плакала. Слезы ее крупным дождем падали на руки Ивана Алексеича, в которых снова покоились ручки девушки. Речь свою он заключил так:

— Милая моя, уверься, что я тот же твой Ваня, как был, вырывая тебя из рук злодея.

— Верю, милый мой, верю от всего сердца и ничему наговору на тебя не поверю, — отвечала Машенька, едва удерживаясь от громких рыданий.

— Благодарю тебя... Но в таком случае позволю мне снова, но уже навсегда, вырвать тебя из рук разбойника.

Задрожала Машенька, как лист от бури. Она поняла, что теперь уже поздно, поняла весь ужас своего положения, но вместе и безысходность из него. Любовь на минуту озарила мрак ее души, заставила ее на минуту все забыть, но при напоминании о том, кому она безрассудно отдала себя в кабалу, вся грозная действительность восстала пред нею.

— Поздно! Я сама себя дала опутать, мы только затянем узлы его петли, а не разорвем ее. Он нас разорит, мы у него теперь кругом в долгу. Всех наших пожитков не хватит разделаться с ним. Я готова на все, на все нужды и лишения, а что будет с бабушкой? Но пусть мы освободимся от него, куда мы преклоним свои головы? Мы оба теперь нищие и думать не можем о браке, я уже прогнала от себя глупые мечты о роскоши на чужой счет. Я дошла до убеждения, что была бы счастлива, если бы честным трудом могла обеспечить свои нужды. Но увы, что значит у нас честный женский труд! Он едва-едва дает только то, чтобы с голоду не умереть. Можно ли тут думать о браке, семье? . . . О! Милый мой, если рок тяготеет над нами, чему я мало верю, то это есть праведное небесное наказание за прежний ход наших мыслей. Не будем восставать против такого приговора, покоримся ему. Милости, только одной милости можем мы просить смиренно, а не протестовать

дерзновенно. Я несомненно верю, что эта милость так или иначе будет нам оказана. Теперь, как ни ужасно мое положение, я все-таки чувствую себя не так несчастною: ты любишь меня! . . . Милый, и я тебя люблю и никогда не разлюблю. Но . . . исполню свой горький долг! И . . . ты позволишь мне это благодушно, не увеличивая моих мук соглашением на бесполезное сопротивление.

Ваня плакал, чувствуя справедливость слов своей возлюбленной, от которых ныло его сердце.

— Милый, расстанемся, пора, скоро люди подымутся. Простимся, если не навсегда, то надолго, в ожидании лучших дней.

— Простимся? Да! — горячо воскликнул Ваня. — Но не навсегда, даже не надолго. Вся жизнь моя будет посвящена тебе . . . Я буду ждать лучших дней, но не пассивно, я буду трудиться, чтобы, во-первых, трудом убить горе, а во-вторых, попробовать, нельзя ли трудом добиться чего-нибудь для лучших дней.

— Благодарю тебя, милый . . . Еще более теперь убеждаюсь, что Господь тебя прислал сюда подкрепить мою немощь. Перекрести же меня, благослови выполнить мой долг.

— Перекрести и ты меня.

Затем они расстались. Ваня, сам не помня как, вырвался из объятий своей дорогой и прямо побежал на почту, где за двойные прогоны взял курьерских до Гавьи, уплатив из пятидесяти рублей, оставленных дядею. Часа в четыре утра он уже переезжал Гавью, отпустив почтовых лошадей, дабы не подать шпиону и виду, что он отлучался так далеко. Идучи лесом версты две от Гавьи до корчмы при Дунь-озере, где они бивакировали в сарае, он успел набрать грибов. И это сделал он очень кстати, потому что дядя Ерема и его товарищ уже с трех часов утра поднялись на ноги, чтобы ехать для ловли на другой конец озера, за семь верст от корчмы, и крайне удивились, не найдя Ивана Алексеича. А шпион крайне даже встревожился, не улепетнул ли в Ригу птенец, порученный его смотрению. Он совершенно успокоился, когда Ваня высипал перед ними груды боровиков и других грибов. Только дядя Ерема проворчал, что такую дрянь можно собирать в полдень, когда рыба не клюет.

Таким образом ночной визит Ивана Алексеича Маше остался тайною для всех. Но даром не прошел он Маше: экзальтация подействовала на ее нервы, она заболела. Доктора объявили, что ей надобно абсолютное спокойствие по крайней мере с неделю, а иначе болезнь сильно разовьется и примет дурной оборот. Делать нечего, свадьбу отложили до 16 августа. Это было для Маши соломинкою утопающего, и она ухватилась за нее.

## XX. СОЛОМИНКА РАЗРАСТАЕТСЯ В БРЕВНО

В день Преображения Господня, храмового праздника динаминдской крепостной церкви, в Динаминде каждый год бывает огромное стечение народа из Риги и окрестностей, подобное тому, как на архиерейскую мизу в Иванов день 24 июня. Все пароходы, какие только имеют возможность быть свободными от буксировки, обращаются в пассажирские для доставки публики туда и обратно. Музыка гремит на тех пароходах, каким удастся нанять ее. С раннего утра до позднего вечера, за исключением двух, трех после-полуденных часов, берега Двины стонут, а рыба мечется от них как шальная, в глубину. Это почти беспрерывная, так сказать, буря без ветра, тем более, что пароходы, желая как можно более выручить и удовлетворить публику, которая толпами стоит на плавучем рижском мосту в ожидании очереди ехать в Динаминд, разводят сильные пары, отчего усиливается прибой волн к берегам. Сдав публику благополучно на Динаминдскую пристань, пароход летит обратно, чтобы забирать другую партию ее из Риги. Отправляются они из Динаминда, не ожидая пассажиров до Риги, да и сомнительно, чтобы в тот день с утра были таковые, нередко случается, что на всем пароходе, несущемся на всех парах в Ригу, нет ни одного пассажира. В это же время лодки всех возможных форм, величин, свойств и качеств, как чайки, плывут по Двине и Красной и настоящей по направлению к Динаминду с гуляющим людом. После двух-трех часов по обедни совершается до

позднего вечера такой же отлив жилой волны из Динаминда в Ригу, тогда уже пароходы не ждут публики рижской, а немедленно высадив на мосту динаминдских пилигримов, торопятся уехать поскорее, чтобы из Динаминда забирать других. Они до того торопятся, что в тот день изменяют курс своих рейсов: вместо того, чтобы заходить на Огнянку, в Мюльграбен, к масляной фабрике г. Филлипсона, к Белой кирке для забирания публики, как они совершают это обыкновенно, они плывут прямо по Двине, так что публике означенных местностей, желающей сделать визит Динаминду, остается отправляться на лодках.

Что влечет честную публику в эту почти пустынную местность, так как предместья ее, или форштадты, как-то неприветливо прячутся между песчаными холмами, на которых нет почти никакой растительности, так как морские порывистые ветры свегают ее немилосердно с негостеприимной полуподвижной почвы. Православная публика вообще усердна помолиться в церкви, где отбывается престольный праздник, особенно если этот праздник может быть обращен потом и в приятное летнее гулянье. Остальная публика именно одно это гулянье и имеет в виду. А в Динаминде в этот день, кроме церковного праздника, есть и другая — яблочный, происхождение которого, вероятно, основано на том, что в этот день по преданию и уставу православной церкви совершается освящение плодов земных. Благочестивые наши рижане старого закона ни за что не позволяют себе кушать ни яблочка, ни грушки (а некоторые даже смородины, крыжовнику, поспевающих ранее первых) до Преображения, т. е. до времени, пока церковью устами своих пастырей не скажет им: «кушайте, детки, на здоровье!» Благочестивой публике, конечно, представилось, что лучше всего получить эту санкцию в той церкви, где храмовой праздник, а кстати и погулять там. Хорошо и в своей церкви, но не мешает допустить и разнообразие! Вот и везут туда яблоки для освящения, а для тех, у кого нет своих яблок, груш, привозят их возами заботливые люди, глаголенные кулаки и кулачки, торговцы и торговки. Возами привозятся в той основательной надежде,



что всякий, кому бы и не нужно было покупать, купит их непременно, потому что, во 1-х, свойство праздника к тому обязывает, во 2-х, пример заразителен, так как большинство публики непременно старается почтить праздник исполнением его заповедей, и в 3-х, возлияния совершаются обильные, а чем закусить? Вся русская публика, кроме постного бублика и разве селедки, не найдет там ничего для закуски, да если бы и нашла, не позволила бы себе отвратить ради чести поста, на который смотрят все равно как на великий пост. Чем же лучше закусить два-три выпитых добрых стаканчика простовейну, как не яблоками, грушами, хоть будь они незрелы? Вреда не может быть, потому что они освящены. Кулаки и кулачки, конечно, имея то в виду, стараются всеусерднейше знакомить публику именно с такими плодами, которые требуют и содействия небесного и русского желудка чудесного для переваривания без особенного вреда. Можно, наверное, положить, что по крайней мере 9/10 привезенного туда товара именно принадлежит к этой категории. И нужды нет, все благополучно сбывается с рук с отличной вырубкой для продающих, без особого вреда для покупающих. Обе стороны довольны.

Индрик Притц тоже был в числе яблочной динаминдской публики, притом не один, а с своей нареченной, только что несколько оправившейся от последствий ночной беседы с г. Пятницким. Влекли его туда не яблоки, не груши, не праздник церковный (он и в свою кирку не любил жаловаться), не желание публику поводить и себя показать, а самая настоящая необходимость: брак его должен был совершиться 16 августа в динаминдской церкви. Почему это так? Почему Притц не хотел венчаться в одной из рижских церквей? Иван Алексеич стоял пугалом пред ним. Как он ни унижил его в глазах невесты и ее родных, как ни поставил невесту в невозможность примирения с ним, он боялся, ему мерещилось и наяву и во сне, что он, ненавистный и беспутный г. Ваня, подставит ему ножку при приближении к брачному алтарю, во всяком случае наделает ему всяких пакостей и скандалу в день брака, например, на вопрос священ-

ника: не обещалась ли иному мужу, он с приятелями своими хором может воскликнуть: обещалась! И что мудреного, что Маша при этом наскандальит, напр., упадет в обморок или, что еще хуже, скажет: обещалась! — а народ и напустится на него? По зрелом соображении он решил свадьбу совершить в Динаминде. Сюда лишней публики не пропустят, особенно если он не покусится. Притом же в военной церкви берут далеко дешевле за освещение и прочее. И он отправился сюда, чтобы окончательно условиться обо всем со священником, и взял с собою невесту как для того, чтобы доставить ей под непосредственным своим наблюдением случай развлечься после болезни, так и для того, чтобы окончить формальности обыска: требовалось, чтобы невеста дала подписку о своем согласии на брак и подписалась на подписке жениха о воспитании детей в православии (тогда она еще не была отменена). Так как священник в ту пору, как они прибыли в Динаминд, уже отправился к обедне, которую ради торжественности праздника служил с диаконом, нарочно вызванным из Риги, то Индрик, которому вообще мало нравилась какая бы то ни было церковная служба, отправился на яблочный базар посмотреть, нельзя ли кого обалахтать, т. е. поднадуть на чем-нибудь, а невесту оставил в церкви в чинарии, что тут никто не вдует в уши ей чего-нибудь противного его интересам. Он немножко ошибся в том и другом: заболтавшись, он прозевал конец обедни, почему Машенька, подошедшая ко кресту и сказавшая священнику, кто она такая, была приглашена им на дом к чаю, а там она, может быть, сама того не понимая, высказалась, каков ей отзывается этот брак. Священник из ее нескольких отрывочных слов и жестов догадался, что тут дело что-то нечисто, некрасиво. Он никак не мог объяснить себе, каким образом такая пристойная и прелестная девушка выходит за такого старика безобразного. Стыд девичий, вспыхивавший на ее бледных щеках, ясно доказывал, что невеста не принадлежит к числу тех барышень, которые, потерявши в лесу девичью красоту, как в одной из русских песен поется, отдаются первому встречному богачу, чтобы его богатством позолотить

свой срам. И он принял в ней глубокое участие. Необходимо сказать, что этот благочестивый иерей был не кто иной, как о. И. Т., человек в высшей степени религиозный, здравомыслящий, честный, правдивый, принимавший глубокое участие в страданиях ближнего. За это он впоследствии пожертвовал своею жизнью, подобно святым мученикам. Он инстинктивно угадал, что тут его пастырское участие необходимо для спасения жертвы, и он решился на это.

Но что он мог сделать там, где рек, по-видимому, наложил свою когтистую медвежью лапу? Невеста соглашалась на брак твердо, без малейшего противоречия и тотчас, как только нареченный ее явился, сел важно за трапезу, подписалась на обоих документах. Метрические свидетельства были в порядке. Недоставало бабушки, но она прислала согласие и благословение, нотариальным порядком засвидетельствованное, паспорта обоих имели полную законность. В паспорте Индрика значилось, что он вдов, а в метрике — что вдов несколько лет. Не оставалось никакой возможности приостановить брак. А все-таки священник решился для очищения своей совести закинуть словечко о неравности сего брака, варьируя эту тему, насколько было возможно. деликатным образом, т. е. расспрашивая, сколько лет ему и ей, рассказывая разные анекдоты, чем кончаются подобные печальные браки, в которых вопреки здравому смыслу и законам природы молодость приносится в жертву престарелому золотому тельцу.

Но Притц, выпивши третью, возразил иерею:

— Полно о пустяках толковать: я с тремя женами уже справился, да и не такими, как эта сахарная. Бог даст, и с этой управлюсь, так что надеюсь, никому не позволю украсить себя быачьим украшением, а сам, как быка, убью! У меня славная бойня!

При этих словах о. И. Т. невольно вздрогнул от радости и ужаса. Причиной радости была надежда спасти симпатичную жертву, а страха, потому что он сам этих хвастливым признанием мясника извлекся от большой ответственности пред начальством.

— Как? — спросил он, однако ж

совершенно спокойно, виду даже не подавая, что интересуется вопросом. — Неужели вы были три раза женаты? Боже мой, мы и одного-то бремени не выносим как следует, а вы три раза вынесли и в четвертый раз собрались взять новое, притом такое молодое, хорошее, т. е. самое тяжелое? Да правда ли это?

— Правда ли это?! — воскликнул надменно Притц, наливая четвертую. — Притц никогда не лжет и лгать не намерен. Я даже помню, как звали мою первую жену, хотя не помню, сколько лет тому назад она отправилась к своим папочке и мамочке. Ее звали Линой Германовной Гольцберг, я венчался с ней в 18... году, в ...ской кирке и помню хорошо, что на ужин столько почек издержано, что на другой день всем покупателям принуждены были отказывать. Потом я через пять лет женился в ...ской кирке на Трудхен Миллер-Мейеровой. А вскоре по смерти ее меня женили на Кетхен Мерценберг. Такая была (непечатное выражение), что рад был, когда тело ее в отличном гробу отнес на кладбище, в траурном сюртуке, но с радостью на душе! .. А с этой-то поживем. Прежние три, скажу тебе, батя, правду, были-таки порядочные рожи, а эта, посмотри хорошенько, ведь право фон-баронесса, куда баронесса? Фон-принцесса! ..

— И все, что говорите вы, верно?

— Что же мне вас обманывать?

Но полно о пустяках, погсворим, сколько за что следует.

И Индрик полез за кошельком, давая знать, что он за деньгами не постоит.

— Извините, — отвечал скромно о. Иоанн, — приход ждет меня с крестом. Я сию минуту пересмотрю ваши бумаги и явлюсь к вашим услугам.

Действительно, минут через пять он возвратился из другой комнаты, которая служила ему и спальней, и детской, и кабинетом, держа бумаги. Руки его несколько дрожали, лицо было несколько бледно, но спокойно, и он, возвращая Индрику его бумаги, твердо отчеканил:

— Милостивый государь, брак ваш невозможен по правилам нашей святой церкви...

— Как? Почему?

— Вы вступаете в четвертый брак, а у нас он не допускается.

— Я и знать этого не хочу!

— Можете это знать или не знать, а я знаю одно, что не могу венчать вас.

Понял наконец Индрик, что дело его неладно, и полез в свой широкий карман за средствами устранить нелад. Вынув несколько крупных кредиток и разложив их на столе, он сказал отцу И.:

— Батя, это твоё, только... не лмайся... кончай дело.

— Не могу, г. Притц, я бедный человек, я бьюсь с шестерыми детьми, пробиваюсь кое-как изо дня в день, даже думаю, что жизнь моя коротенькая и дети мои останутся без куска хлеба, но я не возьму не только денег ваших, но и сотен тысяч за повенчание вас. Совесть возбраняет. Возьмите ваши деньги — и удалитесь, мне некогда.

— Хорошо, найду попа поумнее вас. Он повенчает и за половину.

— Да, я это предвидел, г. Притц. Увы, к нашему несчастью, не прописывается в паспортах, кто из вдовцов вступает по которому браку. А из метрических свидетельств трудно это видеть, потому что в метрике в случае смерти кого-либо из супругов никогда не означает, в котором по числу браке состояло лицо умершее. Сколько было предписаний, циркуляров, чтобы брачное состояние лиц было ясно обозначено! А между тем это законное требование сплошь и рядом нарушается. Какой-нибудь пьяный писарь, получивший пятиалтынный, чтобы ускорить выдачу паспорта, и не думает обращать внимание на брачное состояние лиц, это для него второстепенное дело. Одну ли он имел женой, или двух, нескольких, он просто пишет: женат, вдов, холост, да и того не пишет. Его дело прописать прочие пункты, живет относящиеся к делу. А начальство и подавно подписывает паспорт. А между тем, в случае чего, мы, священники, и отвечаем, зачем не обратил должного внимания на это. Обыкновенно мы принимаем многое при браке на веру. Лучше бы все эти дразги поручить полицейским чиновникам, а нам быть только освятелями брака, после того, как государство рассматривает, возможен ли брак на основании существующих законов Божеских и гражданских. Вот и в ва-

шем паспорте, г. Притц, значится, что вы вдов, но после которого брака — неизвестно. В метрическом свидетельстве тоже. По смыслу закона я должен был требовать от пастора, которым браком вы были женаты, пастор отвечал бы, что ему неизвестно или что-нибудь неопределенное — и пошла перепалка! И я, в случае чего, отвечал бы жестоко. Но слава Богу, вы сами открыли мне глаза. Чтобы не отвечать перед совестью и законом и за других, я написал на вашем паспорте вот что: вдов по третьем браке и приложил церковную печать. А завтра еще напишу об этом, кому следует. Вот вам ваши бумаги.

Машенька так и повалилась ему в ноги.

Не беремся описывать ярость, в какую пришел Притц при неожиданном для него препятствии. Он и просил, и грозил, подкупал и страдал, убеждал и лстил священнику, но все осталось напрасным.

— Пойдем, Маша, — ревнул он наконец, — здесь нечего нам делать, мы с архиереем поговорим, а не с попами. Пойдем!

— Нет, г. Притц, я не пойду с вами.

— Но ты моя невеста? Ты приехала со мной и поедешь со мной.

— Я была вашей невестой, а теперь я свободна. А до дому доберусь и сама.

— Я тебе приказываю идти со мной.

— А я вас не слушаю. Батюшка, примите меня под свое покровительство, отправьте меня домой, не выдайте меня этому... человеку.

— Дочь моя, в моей квартире никто и пальцем до тебя не дотронется. Г. Притц, прошу вас удалиться.

Ровно в час Машенька вышла из дома священника, чтобы сесть на пароход, выждать там его отправления. О, как ей был радостен свет божий, как просветлело на ее душе! Она уподобилась осужденному на казнь, которому неожиданно, негаданно объявили: ты волен идти на все четыре стороны. К совершению ее блаженства в то время, как она не доходила к пристани, вдруг встретила своего возлюбленного.

— Ваня, милый мой, дорогой мой, — воскликнула она, бросаясь к нему в объятия, все забывши, — браку этому не бывать. Я свободна!